

0-38

Краевед

2 • 1982

апрель — июнь

ОТГНИ
КУЗБАССА





И все они — шахтёры, машинисты,
Сибирь из тьмы поднявшие рывком,
Слова не рассыпали, как мониста,
И в грудь свою не били кулаком.

Не выходили напоказ, раззванивая,
Мол, сибиряк, а не какой иной...
Они всегда большое это звание
С достоинством несут перед страной.

ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 34-й

№ 2(75)

В НОМЕРЕ:

Геннадий Емельянов. Слово о родной земле 3

СТИХИ

Владимир Матвеев. Дружеские шипки, юморески, детские
стихи 13

Александр Катков. Судьба. «... И никого, и снег стоит...»
Были бы живы мать и отец...» «Видел страны в их
несказанной красе...» Дома 28

«ВЫПОРХНУЛА ПТИЦА...»

Иван Мордовин. Детство. «Я доброте учился у природы...»
После дождя. Владимир Петраш. Бригадир. Леонид
Торгаев. Воспоминание о лете. Сын. Алексей Куликов.
«Выпорхнула птица из ветвей...» 50

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Владимир Соколов. «День убегает от меня...» «Бесполез-
но я руку поднял...» «Не спала...» 66

ПРОЗА

Екатерина Дубро. Сплошные вопросы. Маленькая
повесть 30

Гарий Немченко. Два рассказа: Шашлык вприглядку. Жи-
вая жизнь 17

Анатолий Ябров. Бабушка Апрося. Рассказ 61



390479

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

Афанасий Гуковский. Первый бой. Раиса Шершнева. Ры-
жая Люся 52

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

И. Дрейцер. «...В мистическом единстве с природой».
Финская мозаика 67

СЛОВО — КРИТИКЕ

Лидия Гладковская. В зеркале женской души 74

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Павел Майский. Дачный десант 85

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

В. Откидач. Право на чудо. (О книге З. Естамоновой
«Сотворение рябины») 87

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Юрий Моренис. Вокруг Клеопатры. (Опыт исторического
рассказа) 88

*На первой странице обложки: На отдыхе.
Фотоэтиюд Е. К. Ильвиса.*

*На второй странице обложки: Дальнегорцы.
Фото В. Грызыхина, стихи В. Баянова*

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, С. Л. Донбай,
Г. А. Емельянов, В. Ф. Зубарев (отв. секретарь), В. Ф. Ку-
ропатов, [И. М. Киселев], В. Ф. Матвеев, В. В. Махалов,
З. А. Чигарева, Г. Е. Юров.

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40.
Тел. 6-26-95, 6-85-14.

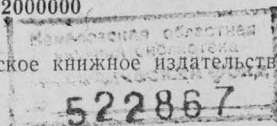
Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Л. В. Глебова; художественный редактор
В. П. Кравчук, технический редактор Г. Н. Манохина, кор-
ректор В. А. Лузина.

Сдано в набор 17.02.82. Подписано к печати 31.05.82. ОП07432. Формат
70×90^{1/16}. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44.
Усл. кр.-отт. 7,17. Уч.-изд. л. 8,49. Тираж 7000 экз. Заказ № 2809. Це-
на 50 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес
издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

О 70500—26 29—82—4702000000
М 145(03)—82

© Кемеровское книжное издательство, 1982



СЛОВО О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

— Бьем тебе челом ото всего православного мира,— сказал Годунов с низким поклоном,— а в твоём лице и Ермаку Тимофеевичу, ото всех князей и бояр, ото всех торговых людей, ото всего люда русского! Прими ото всей земли великое челобитие, что сослужили вы ей службу великую!

— Да перейдут,— воскликнули гости,— да перейдут имена ваши к сыновьям и ко внукам, и к поздним потомкам, на вечную славу, на любовь и образец, на молитву и поучение.

(А. К. Толстой «Князь Серебряный»).

Я процитировал здесь кусочек из романа: четыреста лет назад подручный Ермака атаман Кольцо пирует в доме боярина Годунова по случаю присоединения к Русскому государству сибирских земель, лежащих к востоку от Каменного Пояса, то есть за Уралом. Поход Ермака продолжался несколько лет, начиная с 1581 года. Писатель Алексей Константинович Толстой жалуется мимоходом на то, что в руках у него мало фактов, мало исторических документов, подтверждающих с определенностью, как происходило присоединение новых земель. Не в моей компетенции разбираться, кто сделал почин: купцы Строгановы или же Ермак Тимофеевич по собственному разумению начал тот поход. В литературе, однако, подчеркивается, что волжский атаман воевал споро, был с покоренными ласков, поход его удался, в частности, и потому, что в Сибири не существовало единого государства, были лишь князьки, враждующие меж собой не на живот, а на смерть. Пусть истину из забвения добывают знатоки, одно и теперь яснее ясного: то было величайшее приобретение — Сибирь, о

которой говорят так много. Говорят много по очевидной причине: последние десятилетия века будут, если можно так выразиться, сибирскими — ведь основные государственные заботы сместятся, да уже и смещаются, на восток, все дальше, все глубже, все шире, до самых океанов, куда впадают могучие наши реки.

Сибирь нынче прочно входит в сознание, я бы подчеркнул, всенародное, входит она уже без романтических и жутковатых красок старых романистов, без скитов, без варначьих повадок беглых каторжников, без купеческого мутного разлива страстей. Сибирь была резервом России. Ни у какой другой державы на Земле нет таких захватывающих перспектив бурного и всестороннего развития, как у нашей, потому что у нас есть необъятные просторы за Каменным Поясом и недра тех просторов полны угля, железа и прочих ископаемых, нужных нам именно сегодня, а не позже.

Еще двадцать, ну тридцать лет назад, Сибирь для тех, кто жил в Европейской части Союза, была страной далекой и неведомой. На почте Мос-

ковского университета я получал в ту пору студенчества письма на «до востребования»; смешливая девчушка за стеклянной перегородкой все спрашивала: «Что нового там у вас? Что пишут?» Я сочинял байки в таком роде: бабушка, мол, жалуется, что неделю назад дом их так замело, так завьюжило, что многим пришлось вылезать через печную трубу. А дом, учтите, пятиэтажный. Я еще говорил симпатичной почтарше: «Шуряк жалуется — опоздал на работу. Видите ли, медведи ночью забрели в трамвайный парк и отвинтили у вагонов колеса». Девчушка вроде бы не верила мне, но в то же время глаза ее круглели, она отчаянно всплескивала руками и качала головой, уговаривала, чтобы я назад, домой, не возвращался: разве в Москве работы нет? Сколько угодно в Москве работы!

...Как-то я хотел попасть на французскую промышленную выставку в Сокольниках. Билетов, конечно же, не было, толпа по этому поводу стенала и туманно сулилась жаловаться куда-нибудь повыше. Один дядька, бородастый, с лицом широким и свекольно-красным, раздвинул плечами люд, вынул паспорт из кармана пиджака, развернул его перед носом контролерши и сказал:

— Я из Сибири! Понятно, кукла!

Дядьку пропустили задарма с легким почтительным испугом. Я позавидовал ему, поскольку в кармане на тот момент имел лишь студенческий билет.

Теперь на выставку сибиряка не пропустят по паспорту, сибиряк теперь почти что нормальный гражданин со всеми вытекающими отсюда последствиями: на нас уже не лежит печать исключительности, мы уже не страдаем бесконечно там где-то в стылой необъятности, а живем как все. Виноград у нас, правда, не растет, тем не менее перебиться можно.

Я РОДИЛСЯ в Сибири и стареть буду здесь, на родине.

Как и всякий коренной сибиряк, скажу вслед за другими, что за последние годы стало у нас много теплее, чем раньше. Когда же я был мальчишкой (родился я на юге Красноярского края), у нас, бывало, стояли такие морозы, что в снег с лета падали растопыренные воробьи, падали и замирали, дожидаясь предрешенного конца. Я собирал невесомых птиц за пазуху и бежал домой, к печке, надеясь спасти немудрую живность от беды, однако воробьи почему-то обязательно помирали. Позже где-то вычитал, что подопечные мои гибли от резкого перепада температур: нельзя было с мороза тащить птиц к слишком теплу. Никто почему-то не подсказал мне тогда, как спасать обмороженных, и маленький тот грех до сих пор лежит на душе, нигде его не денешь.

Стрелять не любил, хотя, будучи пацаном, имел собственное ружье, подаренное отцом. Ходил с тем ружьем по зимней тайге и особо меня зачаровывали снегири. Мне сейчас кажется, что были они больше и ярче теперешних. И веселее. Снегири собирались в рябиновых рощах, осыпанных ягодами, будто дождем киноарного цвета, и сутились наверху, клевали ягоды без слепого азарта, нежадно. Видать, им хватало корма. И вольготная у них была жизнь, да и сейчас вольготная, наверно, потому как к тем краям большая индустрия только-только подступает.

Помню, как с покойным отцом ездили на лесную делянку за дровами — пилили бревна, потом кололи чурки, мерзлое дерево звенело под топором коротко и слабо, звук тот напоминал дальние разливы церковных колоколов. Деревья стояли в курже, лошадь тоже одевалась в рябую шубу, она была как сугроб, лишь из ноздрей ее быллинно вырывался пар и на губах выра-

стали сосулины. Возвращались мы с делянки в предзакатный час, багровое солнце плавилось где-то за туманами, разливалось — огненное озеро, — и санний след на дороге наполнялся, будто водой, малиновым отблеском уходящего дня. Мороз в тайге побряхтывал, покашливал, с пихтача комьями скатывался снег. Дорога уходила назад, в густеющую синеву, истаявала по ту сторону бытия.

...Кто из моих земляков не имеет в запасе доброй памяти о тайге, особо — о тайге летней или осенней? Всякая пора по-своему прелестна, но больше люблю весну, когда даже самый заштатный ручеек обретает силу и норов реки, когда на Томи сталкиваются рыхлые льды и плывут солдатской колонной за горы, когда кто-то однажды принесет тебе славную новость: «А ведь скворцы прилетели!»

Сперва начинает зеленеть ивняк понад берегом, зелень эта зыбкая, редкая, словно кисея, потом она густеет, взбирается по кручам все дальше и дальше — до самого неба. Пахнет тогда дальними снегами, грибной прелью и чуть-чуть — свежим огурцом. Воздух в ту пору хрупок, как стекло, и особенно прозрачен; и когда нагреваются черные пашни, воздух дрожит и пляшет, будто родник. В ту пору к воде часто приходят лоси, стоят подолгу, закаменело — думают свою думу и не понять нам, какую. Суетливы весной белки, они напоминают сугорбых старушек, задвленных семейными хлопотами, волчата весной — добродушные щенки, лисы имеют вид обшарпанный, как дамы аристократических фамилий, чье добро просадил в цыганском таборе гусар папаша... Все живое весной чувствует себя счастливо и питает надежды на безмятежные времена. Рано, пробивая снег, осыпают поляны кандыки, позже в щедром, поистине сибирском изобилии, распускается дивный жарок, яркий, будто пламя све-

чи, зажженной в темноте, дальше пойдут марьино коренье, васильки, кукушкины слезы и прочая прелесть, которой не знаешь названия... Сибирь моя, тайга моя, бескрайняя и щедрая, добрая и суровая, холодная и ласковая. Сибирь моя легендарная и такая нужная России!

Я мог бы поведать о том, как проводил отпуска в дебрях, на горных речках, как впервые поймал тайменя, как впервые поймал ленка, похожего на осколок радуги, как встречался с медведем — он, подобно человеку, ел малину и урчал в блаженстве, — как слушал побывальщины у костров в звездной ночи... Я мог бы о многом поведать...

В детстве мы понаслышались историй о приискателях, которые возвращались из тайги в полном одичании, но с фартом, то есть с золотишком. Выходили и впадали в разгул — кидали в грязь штуки материи и от дома до питейного заведения расстлали ковровые дорожки, но после черного такого праздника возвращались на промысел, имея в холщовой котомке соль да ржаные сухари. И все начиналось сначала. Я еще застал кое-кого из тех сотрясателей, поражавших глубину своим полным пренебрежением к благополучию сугубо обывательского толка. Но то были уже старики, потрепанные судьбой и смирные, то были герои другого мира, они не принимали перемен, но уходили с достоинством, верные своей доле. Той Сибири давно нет, она канула в Лету.

Может показаться несколько надуманным мое утверждение о том, что сибирская эпопея лишь начинается. Мне ведь и возразить могут: дескать, еще в седой древности живое дело в Сибири не замирало ни на час, что еще при Петре или Екатерине варили у нас железо, добывали серебро, золотишко мыли... Все правильно: добывали, мыли, плавил, уголек со слезой горю-

чей пополам на-гора выдавали... Было.

При Советской власти по инициативе самого Владимира Ильича началось строительство шахт. Без кузнецкой стали и без кузнецких углей, это признается всеми, не одолеть бы нам, пожалуй, лютого фашиста. И тем не менее это было лишь многообещающее начало, был лишь приступ. Недаром КМК называли форпостом социалистической индустрии на востоке страны. Да и не только в Кузбассе развивалась и крепла промышленность. Но начало есть начало. Нынче другие категории. Речь идет о комплексном освоении. Именно комплексном, включающим в себя широчайший круг проблем, в том числе, конечно же, социальных. Научно обоснованные программы рассчитаны не на рискованного добровольца, который приедет в авральную пору, потом же отхлынет туда, где теплей, они рассчитаны на то, что приезжий осядет, заведет семью и станет сибиряком. Не все, что написано на бумаге, претворяется в жизнь последовательно и неукоснительно, но существенно важна уже сама постановка вопроса, и есть основание надеяться, что новые районы будут осваиваться по-новому, по-современному — без пресловутой романтики, без палаток и временок.

Первый ордер на жилье я получил в Новокузнецке, будучи молодым специалистом, радовался, само собой, и недоумевал малость, почему в документе написано «временный жилой фонд?» Когда же посмотрел свою комнату, въезжать в деревянную пещеру отказался. А ведь отцы-то наши имели хоть мерзлый, но свой угол и считали его за благо. Бараки — «временный фонд» — спустя, почитай, полвека, раскатывают по бревнам дачники, их рушат, но многие тысячи металлургов, тысячи шахтеров вырастили детей и поселились в этих домах, надеясь на лучшие времена. И винить в том некого: обстоятельства были выше на-

ших возможностей, сегодня же наши возможности, считаю, все-таки выше обстоятельств. На объективные причины ссылаться, конечно, можно, но былой убедительности те ссылки не имеют. И не должны иметь! Мне вообще не нравятся слова «борьба» и «битва», когда их употребляют применительно к повседневности. Коли борются или бьются, значит, где-то просчитались или что-то упустили. По-моему, так хватит бороться, лишаясь сна и отдыха, наступила пора по всем параметрам работать в полную силу и в удовольствие. Плодотворно работать, четко, как и положено в условиях технической революции, имея миллионы специалистов самой высокой руки. Выпадает, не отрицаю, и чрезвычайная обстановка, но на то она и чрезвычайная. Случай есть случай, практика же есть практика. Особенно много бьются и борются сибиряки — так уж им предписано литераторами и кинематографистами. Конечно, климат у нас не из ласковых, и людей у нас не хватает, и бездорожье мучает, но пришла пора смотреть на наши дела более современно.

Не стану здесь говорить о сибирских богатствах, кузбасских, в частности потому, что тема эта — популярная, повторяться не имеет смысла.хлопот у нас выше головы, «узких мест» предостаточно и сподручней, пожалуй, в этом обзоре (необъятного не объять!) остановить внимание на самом насущном. Что нас волнует сегодня особенно, что нам нравится и не нравится, что нас больше всего беспокоит в сложившемся положении вещей?

Мне нравятся сибиряки, и предпочтение я до сих пор отдаю старикам — тем, кто все начинал, тем, у кого билось и бьется в груди большевистское сердце, кого вел вперед могучий дух первооткрывателей.

Уходят мои старики. Уносят нена-

писанные страницы истории, где подвиг был массовым и порыв — неповторимым. Вовсе не хочу хулить молодежь, но в новом поколении, в нас, больше рационализма, а настоящий подвиг требует полного самоотрешения и бескорыстия. Наши отцы и деды этими качествами обладали в полной мере, поэтому-то для них не существовало задач невыполнимых, они сотворили самое чудесное чудо двадцатого века — двинули нашу страну вперед с невиданной скоростью, приравнивали десятилетия к векам. Такого человечество еще не заносило в свой актив. И ведь что самое удивительное: мужики, лапотные и темные, взяли государственное кормило, задали тон индустриализации, освоили сложнейшую технику, заставили машины крутиться с наивысшей производительностью.

ВСТРЕТИЛ знакомого. Знакомый спрашивает:

— Селицкого хоронили, почему не пришел?

— В городе не было меня, — ответил. — Огорчительную ты весть сказал!

Весть огорчительная!

О Лукьяне Викторовиче Селицком я публиковал когда-то очерк. Плохой тот очерк получился — признаюсь: не сумел я «разговорить» деда, он к тому же отнесся ко мне настороженно и все опасался, что навру или перепутаю чего по технологической части, например: чугун, мол, варится просто. Селицкий отдал доходам больше сорока лет. Меня уверяли компетентные товарищи: дольше Селицкого у горна никто в мире не простоял. У этого человека было отменное здоровье и талант самого редкого свойства, поскольку ни в молодости, ни тем более в зрелые годы, по его вине не случилось, заметьте себе, ни одной аварии, тогда как поначалу, сразу после пуска цеха, печи останавливали чуть ли не каждый день — не умели сибиряки

вести процесс и некому было учить: иностранные консультанты поразъезжались, в стране аналогов не было. Разве что Магнитка, так и на Магнитке азы проходили.

Встречал я потом Селицкого, уже пенсионера, в скверике по улице Кирова. Отдыхал он на скамейке с хозяйственной сумкой на коленях, я присаживался рядом и заводили мы разговор про то да про се. Я говорил:

— Читал тут недавно, домну строят на пять тысяч кубов, агрегат знатный, по всему видать!

— Трудно будет на нем робить. Да и зачем еще домна? Чугуна у нас — завались.

— Не хватает!

— Что-то не верю.

Сперва меня удивляла такая его отсталая, что ли, точка зрения, но после я понял: он за свою некороткую жизнь столько металла видел, столько его по ковшам разлил, что ему въяе стало казаться: этих горячих рек не только сыновьям, внукам хватит.

Руки у Селицкого были особые — большие, корявые и — усталые.

— Скучаешь, поди? Садик бы завел, в земле копаться — оно успокаивает...

— Хватит, накопался!

После томительной паузы, скупно улыбаясь, припоминал что-нибудь вскользь. Однажды вдруг вспомнил: комсомол выделил ему в награду отрез шевииота на костюм за то, что он, во-первых, придумал, как быстрее строить бараки, во-вторых, за то, что научил ребят выводить клопов народным способом.

— Чудные времена были! — говорил.

Он не прощался, вставал со скамейки натужно, уходил насупленный. Я думал одинаково, провожая его глазами: «Не разговорил я тебя. Но разговору — дайте срок». Никто, выяснилось, мне такого срока не давал: даже сибирский крестьянин, богатырь по

стати, увы, не вечен. На том и кончаются мои воспоминания о нем.

Изредка встречаю Степана Евстафьевича Бойко, тоже доменщика, того Бойко, который «со товарищами» когда-то по наитию совершил открытие мирового класса — сделал доменный процесс непрерывным. Может быть, впервые тогда прогресс в металлургии двинулся с востока на запад, в Европу и дальше — за моря-океаны. Вижу Василия Григорьевича Гурьянова (живем в одном доме), он тоже из кузнечестроителей, начальник цеха, с заводом расставаться не хочет, говорит: «Так и помру в оглоблях».

Недавно познакомился с Ильей Федоровичем Монченко, шахтопроходчиком, первым Героем Социалистического Труда в нашем бассейне, бывшим коногоном, позже — бригадиром, одним из зачинателей скоростной проходки. Вообще-то в сознание плохо укладывается, что еще вчера, в канун Великой Отечественной войны, уголек подавали на-гора с помощью лошади, загнанной во мрак подземелья навечно. («В смене-то до четырех десятков коногонов работало, бичи свистели, крик стоял, понукания, как в цыганском таборе»). Почти все операции на проходке стволов производились вручную. («Теперь-то ребятам куда легче!») Все, разумеется, относительно, но признаем честно: тем, первым, было, действительно, трудно, и ударные темпы, рекорды были рассчитаны на широкие плечи, на смекалку да на феноменальную выносливость русского мужика. Я, придет срок, расскажу обо всем, как строились шахты Кузбасса, кто их строил и какая цена была заплачена за славу и почет. На таких, как Илья Федорович Монченко, держалась и держится нелегкая наша земля. Придет срок — расскажу. Больше, пожалуй, десятка шахт наберется, которые строил этот человек, из забоев, пройденных Ильей Федоро-

вичем, рекой днем и ночью течет уголь — черное золото. И в том угле — наша сила.

...Закрою глаза и вижу десятки лиц, вспоминаю десятки фамилий тех, по ком скучает перо, кем по праву может гордиться Сибирь, страна, народ. Пишу я, конечно, не только о ветеранах, пишу по силе возможности о тех, кто сегодня хозяин положения, кто создает и движет. Это, как правило, люди, во-первых, талантливые, это, во-вторых, люди, для которых слова «честь», «совесть», «долг» не стали старомодными. Батюшка Лев Николаевич Толстой сказал: «Спокойствие — это душевная подлость». Настоящий гражданин спокойствия не ведает, тем он и привлекателен для окружающих его. Он — некая точка, центр, где сосредоточено движение, центр, где всегда есть место добрым переменам. Он — острое копьё, летящего в завтра.

Но вот опять закрою глаза и вижу десятки лиц, вспоминаю десятки фамилий крупных специалистов, рабочих и инженеров, выбывших из сибирского актива. Где-то за Уральским хребтом они нынче живут — кто в Молдавии, кто на Украине, кто на Кавказе и так далее, и так далее. Страна наша превеликая, известно, везде строят, варят металл, собирают машины, и везде нужны трудовые руки.

НЕСКОЛЬКО лет назад я был в Переделкине, в подмосковном и знаменитом Доме творчества писателей, на семинаре. Для нас, «семинаристов», почти каждый вечер читались лекции на самые разные темы, и однажды просвещенной аудитории была представлена ученая женщина из Новосибирского Академгородка. Я не намерен о науке говорить с иронией, но считаю: любой сибиряк, грамотный или не очень, объяснит вам более или менее убедительно, почему от нас уезжают, почему миграция населения

идет не с запада на восток, как бы нам хотелось, а все-таки с востока на запад. Ученая женщина употребляла иностранные слова и развешивала графики, опиралась на статистические данные, но суть от этого не изменилась. У миграции не одна причина и не одно слагаемое. Часть проблем, наверно, необходимо решать на общегосударственном уровне, но ведь кое-что зависит и от нас.

Совсем недавно по случаю ехал я ранним утром с управляющим строительным трестом, путь мы держали в Абашево, шахтерский и дальний район Новокузнецка. Машина остановилась вдруг, «хозяин» вышел и долго его не было.

— В чем дело?

Шофер, неглупый, выдавший виды и многих управляющих, начал рассуждать о том, что вот мучают парня (имелся в виду трестовский голова), опять выговором грозят, а ведь не его дело — выставки всякие варганить. Оказывается, тресту было поручено в сверхсрочном порядке устроить к пятидесятилетию города вернисаж, выставочный зал, и день свой начальник начинает с нового объекта.

— Никому не нужны эти выставки! — сказал шофер.

Я подумал: «Тебе этот вернисаж, как теперь говорят, до лампочки, но кому-то он очень нужен и, если не давить, никаких картинных галерей в городе не будет». И не потому, что хозяева не хотят строить без нажима магазины, столовые, театры или Дворцы культуры, им некогда строить, у них всякий день на повестке цели самого высокого порядка: в Новокузнецке то новую домну монтируют, то мощнейший прокатный стан, то сталеплавильный цех. Кузнецкий металлургический комбинат с момента пуска все давал и давал, преодолевая немыслимые рубежи, ставил фантастические рекорды производи-

тельности, наконец, грянула пора, когда даже железо устало: был конь, да изъездился. Бывший директор комбината Евгений Иванович Салов, мужчина размашистый и колоритный, говаривал в свое время: «Вы мой завод не трогайте, он выше критики, он — как солдат в опаленной шинели, как памятник Герою стоит и стоять будет!» Слова, конечно, правильные, торжественные слова, но куда притом не спрячешь прискорбный факт: знаменитый завод стал второразрядным, а был флагманом. Магнитка была флагманом, флагманом и осталась, потому, наверно, осталась, что там умели глядеть вперед, умели к тому же отстаивать и защищать свою правую позицию. На Кузнецком комбинате, пора признать, таких не оказалось, за нас никто не стоял, как положено стоять коммунисту и глубоко заинтересованному генералу от промышленности. О реконструкции комбината много последние годы рассуждают, но вводят в строй пока новые агрегаты, не касаясь изношенных цехов и изношенного оборудования (опять — давай, давай!). Я не специалист, однако мне такой оборот кажется странным.

Но вернусь накоротке к лекции в Переделкине. Я ее не дослушал, ту лекцию: слишком бесстрастной она мне показалась — не присутствовало в ней оптимизма, а главное, не услышали мы четко сформулированных, обоснованных предложений о том, как преодолеть сложившееся положение вещей, как удержать сибиряка в Сибири? В качестве рядового примера для размышления социологической науке предложил бы письмо, полученное недавно от родственника из Курска. Родственник сообщает во первых строках своего письма, что нынче в Курске невиданный урожай яблок и хотел он прислать мне посылку («исключительной красоты и вкуса яблоки для тебя

отобрал!)), а на почте родственнику сказали: в Сибирь посылки не принимаем. На Кавказ — пожалуйста, в Киев — пожалуйста, а вашу посылку шибко далеко везти...

Нечасто, но прохожу мимо хоккейной коробки на проспекте Строителей. Коробку реконструируют, исполняется вроде бы, наконец, голубая мечта города: будем мы, кажется, иметь крытый лед, но когда? На этот вопрос никто, пожалуй, не ответит хотя бы с малой степенью определенности. Когда-нибудь. Однако если вы поинтересуетесь, почему рабочие опять забросили этот объект, вам назовут веские и убедительные причины. А команда «Металлург» тренируется на чужих полях, даже играет на чужих полях. От былой хоккейной славы Новокузнецка остались крохи, а ведь взлетала она когда-то красиво — в высшей лиге играли не как-нибудь! Вспоминаю те благословенные времена с легкой и неизбывной грустью. Вспоминаю, как директор стадиона Василий Яковлевич Моргунов накануне, а то и дня за два до очередного матча, «уходил в подполье», потому, что болельщики преследовали его настойчиво и сердито — требовали билет, контрамарку и вообще любую бумажку, позволяющую попасть на матч. Сидячих мест не было, крыши — тоже. Люди, чтобы занять места получше, валили на стадион с утра, бывало. Это при сорокаградусном порой морозе! Пессимисты предрекали, что деревянные трибуны не выдержат натиска и рухнут однажды, поскольку публики набивалось сверх всякой меры, оптимисты отвечали, что дерево, оно обязано выдюжить. Выдюжило дерево, но у директора Василия Яковлевича Моргунова седых волос тогда прибавилось. Было замечено, что на Кузнецком производительность труда, когда «Металлург» проигрывал именитой

московской команде, и наоборот — резко подскакивала, когда мы брали верх. Болельщик той поры знал о хоккее все. Болельщик был вездесущ, трепетно предан своей страсти, и любовь та не делала различия между шустрым соплячком и степенным ветераном. Машины для очистки льда мы тогда не имели, снег после каждого периода убирали широкими железными лопатами. Работу эту производили, как правило, пенсионеры из числа, так сказать, спортивного актива, гвардия, подчиненная администрации стадиона; среди тех гвардейцев я всегда выделял старика, обладающего тяжелой серебряного цвета бородой, которая по ширине и размерам чуть уступала помянутой лопате. И вот однажды дед выбежал на поле в перерыве без отменной своей растительности, с голым подбородком. Зритель поднял веселый гвалт, в криках чувствовалось торжество и даже злорадство. Выяснилось: уборщик льда поспорил: победит «Металлург» московский «Спартак», он сбрит бороду, возвращенную давно и для пущей бравости. «Металлург» у «Спартака» выиграл!

Конечно, хоккей — не такая уж и важная веха в биографии города, но ведь из таких именно штрихов складывается его социальный портрет, воспитывается и дает крепкие корни чувство патриотизма и гордости. Воистину не хлебом единым сыт человек!

Итак, культура.

Еще раз — культура.

Итак, патриотизм.

Еще раз — патриотизм.

НЕБОГАТЫЙ мой опыт общения с молодежью показывает, что смена наша мало знакома с прошлым города, Сибири, и еще меньше, пожалуй, — с ее настоящим. Герой моей книги, упомянутый уже здесь Василий Григорьевич Гурьянов, на читательской конференции в педагогическом институте, удивившись до край-

ности тем, что студенты не представляют себе, как получают сталь бес-семеровским способом, с помощью стакана и графина, стоявших на столе президиума, стал изображать запис-бовские конверторы. Я с улыбкой на-блюдал за ним. Объяснял Гурьянов темпераментно, стремился к абсолют-ной доступности. Перед нами были фи-лологи, им, конечно, совсем не обя-зательно вникать в самые тонкие то-нкости технологии, но в элементарном объеме владеть темой не мешало бы— иначе как же будущие педагоги рас-толкуют своим ученикам, чем славна и знаменита Кузнецкая земля, как они зажгут любовь к ремеслу, к потной и такой нужной работе? Школа наша слишком долго звала к занятиям пре-имущественно романтическим; она хо-тела всех, кто садился за парту, сде-лать летчиками, учеными, поэтами, врачами и забывала о том, что кто-то должен давать черный металл, выпе-кать хлеба, крутить баранку грузови-ка, пахать и сеять. Теперь мы стараемся изменить курс, суще-ствует целая система так называемой профориентации, пропагандой рабочих профессий заняты немалые общест-венные силы, однако при всей серьез-ности этой системы, она все-таки час-то дает сбои. Одна из причин таких сбоев— формализм, я считаю. У лю-дей, занятых профессиональной ори-ентацией, нет, кроме прочего, в по-стоянном пользовании яркой литера-туры, повествующей о трудовых буд-нях, текущих рядом с нами, о драма-тических поисках и счастливых оза-рениях, о прославленных металлургах, шахтерах, строителях, о талантливей-ших умельцах, об энтузиастах, на чьих плечах в конечном итоге держится наше благополучие. Таких у нас нема-ло. Пример лучших — самый убеди-тельный и наглядный, они сами, их судьбы, их путь; их жизненный стиль, что ли, ценен сам по себе и не тре-

бует громких слов. Пример людей выдающихся — рабочих, инженеров, командиров производства, наконец, наше достояние, которое мы исполь-зуем с малым коэффициентом полез-ного действия. У нас в Кузбассе, да и за его пределами почти нет книг, за-метных книг, написанных о выдающихся земляках. Добротные вещи о совре-меннике своем делать очень непро-сто, смею вас заверить, но ведь надо делать!

ВСПОМИНАЮ одну читательскую конференцию. Разбиралась кни-га, написанная мною в соавторстве с журналистом В. Н. Колюбакиным, «Запсиб — железная держава».

Одна женщина довольно преклон-ных лет, инженер, как я понял, раз-несла авторов в пух и прах. Ей вот что не понравилось: рассказываете вы, дес-кать, о новой коксовой батарее с вос-торгом, можно отметить, — она и кра-сивая, она и совершенная, чуть ли не единственная в своем роде. Так-то оно так, но почему вы не заметили, как тяжело выполняется план на коксохи-мическом производстве, сколько там грязной и непочетной работы, которую никто не хочет выполнять, молодежь — особенно не хочет. Почему мы не бо-ялись и не боимся ворочать грязь и глотать невкусный заводской дым, по-чему же нынешнее нежное поколение чурается взять в руки лопату или кай-ло? Вам бы внушить молодежи, что любой труд почетен, а вы в лирику ударились. Мне лично понравилась страсть той читательницы, но не по-нравился знакомый мотив: чем они луч-ше нас, им тоже полезно, холеным, повкалывать и растряссти рано нагулян-ный жирок. Любой труд почетен — кто станет возражать, — но давайте прики-нем объективно: права была записи-бовская патриотка или не права? Я ей ответил, тоже, признаться, задетый, примерно так: уже не должно быть грязи на коксохимическом производ-

ве! Где же инженерный интеллект, где же искатели, где новаторы от науки и практики, ведь до сих пор мерзлый уголь в вагонах долбят ломами на выгрузке, до сих пор цеха загазованы порой выше всяких норм и правил. Тех, кто готов махать лопатой с молодых ногтей и до почетной старости, уже нет и не будет, и Сибирь в силу особых условий должна иметь самую высокую в стране, если хотите, производительность труда и самую высокую культуру на рабочих местах. Белый калач и длинный рубль, оно не мешало бы, но и этого сегодня мало, тем более, что калач наш не такой уж и белый и рубль совсем не длинный. Взывать к совести тоже надо, но этого недостаточно. Конечно, Запсиб разительно отличается от того же КМК. Запсиб — завод современный, но и он может обветшать до срока, если не приложить к нему руки, если не совершенствовать технологию беспрестанно.

Любой газетный репортер, не прягая памяти, приведет вам не один пример того, как тормозится по традиции в промышленности внедрение нового, с какими потугами входит в будни прогрессивная технология. Кое в чем, нелишне подчеркнуть, мы занимаем передовые позиции, но хотелось бы видеть сибирский хваткий стиль в его идеальном варианте, без бумажных препон и волокиты. Нам этот стиль особенно нужен!

ПЕРЕД самым ноябрьским праздником я видел снегирей недалеко от города. Знающие люди сказали, что корма в тайге этой зимой будет маловато и птица тянется к человеческому жилью.

Приятель жаловался на днях:

— Ты знаешь, бурундуки на даче

все чисто подсолнухи обшелушили. Никогда такого не было!

Это, наверно, знамение времени все-таки; зверь стал доверчивей и тяготеет к нам. Значит, не пропало втуне доброе слово о брате нашем меньшом, не прошли мимо сознания многочисленные призывы всеми возможными средствами защищать окружающую среду, сохранять матушку-природу, относиться к ней сострадательно и нежно. Все-таки лед тронулся!

Защита окружающей среды — забота не только эмоциональных пенсионеров и газетчиков, дело это государственное, и в решениях XXVI съезда КПСС еще раз подчеркнуто, что новые предприятия не должны сдаваться в эксплуатацию без очистных сооружений и никакие причины во внимание брать уже не будут. У нас в этом направлении много работы, и она производится, эта работа. Не так быстро, как хотелось бы, потому что, наверно, из всех забот, выпавших на долю Кузбасса, эта забота не сделалась еще одной из главных. Однако светлеет помаленьку многострадальная Аба, текущая через город Новокузнецк, поуменьшились черные хвосты над заводскими трубами, в Томи прибавляются рыбы косяки...

Верю: мои внуки увидят, как лось, державно вскинув рога, выходит на зорьке пить воду, увидят белого зайца на белом снегу, услышат, как поют лесные птицы. Мои внуки пойдут по грибы или за ягодами по таежным скользким тропам, и у них под ногами будет рассыпаться круглая роса. Верю: наши внуки будут любить Сибирь, как любим ее мы, Сибирь-Родину, Сибирь-кормилицу, край счастливого будущего и особой судьбы.

Верю!

Иначе зачем же мы живем?

Владимир Матвеев



Известному нашему поэту-сатирику Владимиру Федоровичу Матвееву исполнилось 50 лет. Читатели знают его как автора многих сатирических сборников и книжек для детей.

Для Матвеева характерен постоянный жанровый поиск. Сегодня он выступает «с опытом вольных импровизаций кузбасских поэтов на тему «Вышел зайчик погулять...»

ДРУЖЕСКИЕ ШИПКИ

МИХАИЛ НЕБОГАТОВ

Родимая сторонка,
Земной тебе поклон.
Здесь в каждого зайчонка
По-братски я влюблен.

Детина беззаботный,
Гордишься зря собой,
Не называй охотой
Бессовестный разбой.

Голодных лет всплывают были,
Я память детства не сотру,
Одну березку мы любили,
Я сок пивал, он — грыз кору.

Внимая мненью пустослова,
Не отступлюсь от своего:
Не как бы подстрелить косого,
А как бы сохранить его.

ВАЛЕНТИН МАХАЛОВ

На мир печально хмуря брови,
Угрюмый тип был встрече рад,
И вот в тоске по свежей крови
Влепил предательский заряд.
Зверек в каком-то озаренье,
Когда ослабили струны жил,
Вдруг понял: жизнь — одно мгновенье,
Которым он не дорожил.

ВИКТОР БАЯНОВ

Ах, что со мною, что со мною?
Недоброде людской не рад:
Лютуют за моей спиной,
Обижен заяц — меньший брат.

ГЕННАДИЙ ЮРОВ

Я на Руднике вырос, бедовый мальчишка,
Для стихов и поэм тут и темы беру,
Нынче кем-то ухлопан последний зайчишка,
Стало голо и грустно в сосновом бору.
Участились делишки преступного рода.
Современник, ты горький урок извлеки —
Не косой погибает, а мать-природа,
Обмелели, как души, истоки реки.
Сам не знаю, что делать с трагедией надо,
Но отчетливо вижу с крутой высоты:
Превращается в Берег Сплошного Разлада
С малых лет сердцу памятный Берег Мечты.

ВАЛЕРИЙ ЗУБАРЕВ

Осенние дни обнажили
Несвязную схему ветвей,
Тут зайца шута обложили,
И не было цели видней.
Земной колыбели создание
Распалось на атомы вдруг.
Померкли глаза мироздания,
Замкнулся магический круг.
Зайчихи шахтерского края
Роняли слезинки в траву.
...Ружейный огонь проклиная
И мыслящим — не назову!

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ

Мне знакома прелесть смысла
Говорить — людской обряд.
На зверей гляжу я кисло,
Ведь они не говорят.
С языком зайчонок вроде,
А не крикнет из куста:
«Шапки заячьи не в моде,
Я ондатре — не чета!»
На поминках не пил зелья,
Не кропил слезой траву,
Но с тех пор чуток с похмелья,
Так вот, значит, и живу.

ПАВЕЛ МАЙСКИЙ

Зря кукушки тишину новали,
Ель-монашка простирала крест...
От беды укроешься едва ли,
Если началась пальба окрест.
И когда захорнали бекасы,
С тяжким сердцем я побрел домой.
На таежной просеке Кузбасса
Одиноко стынул зайчик мой.

АЛЕКСАНДР ИБРАГИМОВ

И снова «пиф-паф» и кажется, что все
это было,
В кровавом неводе озера воет собакой
звезда,
И смех охотничий... и заяц кувырняется
с обрыва,
И с азбукой одуванчика расстается косой
навсегда.
О, как он резвился на буквах природы юно!
О, как ружье презирал и классицизм аллеи!
И в бегах участвовал зеленых коней июня,
И зайчиха простоволосая гордилась
материнской долей своей.
И горем вселенским терзаясь, из читалки
я вышел,
И, слушая голос свыше, повторял его вслух:
Не снег нахлобучила всемирная крыша,
Надела она из убиенного зайца треух.

АЛЕКСЕЙ ТОМИЛОВ

По-вологодски я слова рожаю,
Округлые, как яблоко, люблю,
Я мужиков степенных уважаю,
А тех, кто губит зайцев, не терплю.
Зверятам я приятель замечательный.
И ты лесное царство береги.
...Давно не ел я пирогов с зайчатинной,
Меня зовет родня на пироги.

НИКОЛАЙ КОЛМОГОРОВ

Задумаюсь. И долго в окно смотрю.
Заячьи пятки мелькают за низким оконцем.
И снова себя на мысли ловлю
О том,
Что все безысходно под солнцем.
И домик наш славный, который в сугробы
врос,

Вдруг покажется мне сараем ужасным!
И станет трусишку жалко до слез,
Он гибнет под небом, глубоким и ясным.
Так в мире опять совершается зло,
Создание божье безбожно кромсают.
И все же тепло на Земле и светло,
И мухи больших мастеров не кусают.

ЛЕОНИД ГЕРЖИДОВИЧ

Никнет таволга горько,
Витютень, как в припадке.
Кто-то бродит на зорьке
И стреляет украдкой.
Застегну-ка я душу
С горя пуговкой пижмы,
Вся тайга нынче тужит —
Грубо зайчик обижен.
Тут взыскать бы поостроже,
Наказать для примера,
Да уж очень похож я
На того браконьера.

ЮМОРЕСКИ, ДЕТСКИЕ СТИХИ

ТУНЕЯДЕЦ НА РАСПУТЬЕ

Я, граждане, вовсе не против труда
И жертвою спроса являюсь отчасти:
Сюда на работу зовут и туда,
А я не привык разрываться на части.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

Не сижу, зевая в дреме,
А пишу о зайце стих.
Мать-земля — единый домик,
Общежитий нет других.
На своем тут каждый месте,
И признаюсь не тая:
Не спешим с зайчонком вместе
За пределы бытия.

ВИТАЛИЙ КРЕКОВ

Смертельный грех мы учиняем,
Как будто бес в печенку влез.
Во имя скорбных начинаний
На ладан снега дышит лес.
Прощай навек, родное поле!
Блаженный миг косою обрел,
И дух его, помимо воли,
На звездные луга побрел.

ЭДУАРД ГОЛЬЦМАН

Заинька, агусеньки!
Что с тобой стряслось?
Нет покоя Люсеньке,
Тонет в луже слез.
Малюточку жалею —
Сел в лужу рядом с нею.

В ЗНАКОМОМ ХОЗЯЙСТВЕ

— Как с надоями?
— Хлопочем.
— Много ли готовы дать?
— С молоком пока не очень...
Вот с навозом — благодать!

В ОДНОМ ВУЗЕ

За кадры ответственный морщится:
— Проблема возникла вдруг —
Теперь для меня уборщица
Важней кандидата наук.
Момент наблюдаю критический,
От поисков тщетных устал;
Как будто не век технический,
А век техничек настал.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЫКВА

— О чем вздыхаешь, Тыква?
— От «Вы» совсем отвыкла,
Все тычут: тыква, тыква,
Никто не скажет: Выква.

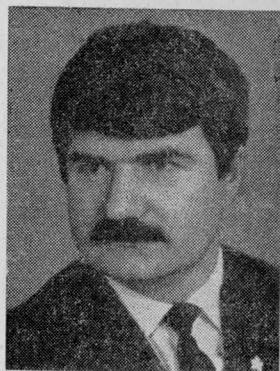
УВЛЕЧЕНИЕ

«То было раннею весной...»
Пел соловей. Вода журчала.
Шепнула нежно Боре Алла:
«Давай занурим по одной».

НЕ ДО СМЕХА

Остроты, басни кто не любит!
Зал откликается, как эхо.
Звучат стихи в знакомом клубе,
Куда я зван на вечер смеха.
Пусть нынче каждый веселится,
Нет автору награды лучше.
Я вижу солнечные лица,
И лишь одно — темнее тучи.
О, бремя тягостных минуток!
Лицо не то, чтобы скучает:
Ему здесь просто не до шуток —
За вечер смеха отвечает.

ДВА РАССКАЗА



ШАШЛЫК ВПРИГЛЯДКУ

— Эта история, брат, веселая, хоть началась она, когда было нам, прямо сказать, не до смеха... Какое там! Казалось, уже повидали всякого, но такой гонки, которая пошла у нас на стане «три тысячи пятьсот», даже наши старые волки не помнили... И такой, добавлю от себя, дерготни. И такой свистопляски. Ты ребятам дай, где развернуться, они черту рога сломят. А какая к шутам работа, если бетонщик еще с фундамента своего не ушел, а на плечах у него уже примостился каменщик, раствором за воротник капает, а у него в свою очередь уже монтажник на ушах чудом держится, уже варит, уже и того, и другого огоньком посыпает...

А получилось так, что перед этой запаркой большинство наших ребят на юге в командировке были, — кто в Жданове, а кто и еще подальше, в местах, где и еще потеплей — в Рустави... Вот однажды на совете бригадиров и заворчали: там, мол, у людей жизнь как жизнь, там не только вкалывают, но умеют и отдохнуть, и о своем здоровье подумать, а мы тут, что называется, на износ чертоломим. Не успели еще в один жесточайший срок уложиться, а нам уже другой предлагают, еще

пожестче — только на вас, мол, сибиряки, и надежда, — надо!..

Управляющий трестом Павел Степанович Елизаров подпер щеку ладонью, сидел, слушал, и непонятно, отчего глаза у него все веселей да веселей делались. Засмеялся вдруг, откинулся в кресле, кулаки на стол выставил. А чего ж, говорит, вы хотели, братья-славяне?.. Другие, мол, времена — другие песни!.. Это раньше в Сибири сроки подлинней были: у кого — «десятка», у кого — «четвертак», а кому и вечное поселение... А мы-то с вами живем в каком, извините, веке?! Какое, мол, дело для нашей России делаем? Оттого и со сроками у нас куда веселей: не дают даже того, что по общепринятым нормам по всему Союзу положено. С тем же станом: чтобы его начать да кончить, чтобы до ума его довести — сколько требуется? Три года с половиной. А нам дали?.. Всего лишь два. А почему?.. Да потому, что хорошенько знают, какие тут на стройке орлы выросли! Предложим ту самую общепринятую норму — могут еще обидеться. За кого, мол, нас принимают!?

И смотрит на нас, и все смеется.

Умел он как-то так смотреть — от взгляда его и на душе легче, и улыбнуться тоже хочется...

Наши, и в самом деле, заулыбались, головами закачали, но он вдруг построжал разом: а где, спрашивает, главный снабженец? Почему его на совете нет?!

Жмет на кнопку, вызывает секретаршу Ниночку, велит разыскать немедленно, а когда тот вошел, не может отдышаться, Павел Степанович ему — приказ: достать немедленно лучшего, какой только может быть в наших краях, барана. Откормить хорошенько. А как только стан сдадим — выезд на природу. Детский, значит, крик на лужайке. С шашлыками, естественно. Так он тогда сказал.

Снабженец свое обычное — «Бу сделано!» — мы руки потираем — это, конечно, разговор! — а управляющий ему еще раз, уже в спину: «Запомни, Генрих Абрамыч, — лучшего!..»

За всякими хлопотами об этом приказе Елизарова все почти что забыли, но на следующем совете он вдруг поднимает снабженца: «Генрих Абрамыч, доложи!»

И тут, брат, — представление...

Подходит Генрих к подоконнику, приподнимает шпингалеты, толкает рамы и вниз куда-то тоненьким голоском кричит: «Г-гебята, виг-га!»

И что бы ты подумал: за окном тросы тянутся и появляется вдруг сварная клетка, а в ней — баран, да какой!.. Мы еще подхватить ее да в окно втащить не успели, а уже каждый разглядел, что там в ней за красавец.

Поставили клетку посреди кабинета, Генрих открывает дверку, и баран запросто себе выходит, в центре кружка становится: большой да крепкий, грудь мощная, шерсть чуть ли не до пола, а рога!.. Стань, кажется, их нарочно гнуть, и то не добьешься, чтобы была в них и такая красота, и вместе — сила.

Голову угнул, рогами водит, словно обувь нашу рассматривает, а сам глазницами своими голубыми по бокам: зырк!.. зырк! И никакого в них нет испуга, а только уверенность, а может, даже и какая придирка...

Сапоги у всех оглядел, потом хвостиком вдруг дернул, маленько развернулся и точно на башмак Павлу Степанычу орешки сбросил.

Радости было!.. И больше всех сам Елизаров радовался: не абы кого выбрал, а управляющего, молодец, мол. С характером баран. Свой!

Наши как дети смеются и галдят, а Генрих кричит: «И вежно, свой! ...Представить газетшите: звать — Шашлык. Фамилия — Монтажник!»

Павел Степанович до корзинки с ненужными бумажками на пятке дошел, с носка орешки сбросил и говорит: «Ты нам тут, Генрих Абрамыч, зубы не заговаривай!.. А то я тебя не знаю. Поскольку тебе теперь придется кроме железок да всякой материальной части еще о сене заботиться, наверняка не утерпишь, заведешь в деревеньке рядом под эту марку пару коровок у какой-либо пухлой вдовушки, будешь по вечерам попить с ней парное молочко, а баран наш будет сидеть голодный!»

Генрих плечи приподнял выше головы, глазами хлопает, и голос у него такой, как будто не то что вот-вот заплачет, а зарыдает — не остановишь: «Неужели мои стагие уши не подвели меня?!.. Павел Степаныч, — это я?!» Управляющий спокойно: «Ну, а кто ж еще?» Генрих тычет себя в грудь пальцем с такою силою, что словно бы от этого и отступает на шаг-другой: «Провалиться на этом месте, если я хоть когда-нибудь...» Но здесь уж управляющий пугается: «Генрих Абрамович, окстись!.. И так с кадрами беда, а ты мне весь цвет треста зараз хочешь погубить! Останемся вдвоем, тогда уж экспериментировать, так и быть... Подальше от него, товарищи, подальше!»

Тут Генрих, якобы до глубины души оскорбленный, тихо садится в уголочке, достает носовой платок, большой, как ресторанный салфетка, начинает жалобно сморкаться и вдыхать вздох, а мы, несмотря на жалостные его вздохи, дружно принимаем предложение управляющего создать авторитетную комиссию в составе трех человек — чтобы, значит, со всей ответственностью проследить за судьбой нашего красавца, не дать его снабженцу в обиду, — а заодно единогласно принимаем, конечно, и другое решение: поднажать на стане еще чуть-чуть...

Только тут, по-моему, наш Генрих платок свой спрятал, только тут и успокоился...

Дальше я могу, как член этой самой комиссии — повезло, брат, что ты! Сподобился. Облекли доверием.

Ну, а если облекли, то что?

Из дома спешешь, кусок сахарку захватишь, бублик у тещи подзабьешь, а то и просто ржаной сухарик в карман положишь — угощение, значит, для своего подшефного... После оперативки перемигнемся с ребятами: давай, и в самом деле, проведем?

И хоть обратно на участок несешься, как на пожар, успеешь заскочить в гараж, где ему уголок отгородили. Сунешь руку между штакетинами, дашь, что принес, губами выбрать, ладонь под шею подставишь, потрепнешь снизу, а то и за рог ухватишь: пусть-ка поковыряется, пусть разомнется... А отпустишь, он сперва утнет голову, замрет, а потом так вдруг отчетливо вздохнет. Не то, что отдышаться хочет, ты понимаешь — нет, а вроде как жалеет каждый раз, что тебе уже бежать надо, а он в своем закутке опять один остается...

«Пока, — кричишь ему, — Бяшка!.. Не скучай!»

Уже, видишь, Бяшка.

Бяшка Шашлыкович Монтажников, если полностью.

Под этой уже уважительной кличкой прожил он у нас и осень, и всю долгую зиму, и раннюю весну... А что прикажешь?

Сперва подвели поставщики, прислали не те маслonaсосы, а после, когда этих все-таки додали, наши отличились. Электромонтажники. Хотели всех выручить, придумали какую-то сложнейшую «химию» с обкаткой оборудования и чуть ли не целую линию угробили... Сколько ватников, скажу я тебе, сгорело, пока всем миром пламя сбивали. Только успели сбить — пожарники прикатили. Им кричат, хорош, хватит, а они, видишь, решили показать, что тоже не даром хлеб едят — столько воды в цехе вылили, что все трансформаторы пришлось ставить на ревизию да почти каждый второй потом перематывать.

И с грехом пополам сдали мы стан только в самом начале мая.

Ты себе это время представляешь?..

Еще последние кандыки цветут и уже черемша пошла. Первая. Солнышко вовсю на полянку светит, кукушка где-то совсем близко кричит, и ты лежишь на краю брезента с таким натюрмортом посредине, что от одного его вида дух захватывает, а кругом глухая тайга, уже и запах от машин в ней растворился — никто тебя не найдет, никто вдруг, как по тревоге, не поднимет, никто не пошлет брак чужой передельывать... Сегодня — расслабушка. Наш день.

Все уже по капельке приняли, сидели теперь молча, смотрели...

Чуть подальше костер пылает, а поближе лежит наш Бяшка со связанными ногами, и бригадир Ченцов — Коля Рука Не Дрогнет — над ним ножи булатные точит... Вот отложил брусок, пошпирхал их один о другой, сперва на ногте попробовал, а потом волосок из кудрей из цыганских своих вырвал, приподнял двумя пальцами, отпустил и полоснул ножиком... Нож так и сверкнул. Так и свистнул.

Коля сказал: «Бритва!..»

Шагнул к Бяшке, постоял над ним, постоял, потом качнул головой и на место вернулся, снова за свои ножи принялся — они как бритва, а ему, видишь ли, этого мало!

Кто-то из наших вздохнул и говорит: а, может, мол, — еще по граммукле?

Коля, хоть дальше всех стоял, первый откликнулся: «Налейте, братцы, и мне!.. Для точности глаза».

Чтоб все было и совсем точно, налили ему побольше, и он край рукава понюхал, крикнул нарочно по-разбойничьи и опять шагнул к Бяшке...

Тут я, признаться, отвернулся, стал на большую кедру смотреть: хорошая, думаю, кедра, сильная и вполне лазовая — были бы только осенью на ней шишки...

Смотрю себе и смотрю, рядом тихо и тихо, а потом управляющий так громко и вроде бы строго спрашивает: «В чем дело, Ченцов?..»

Оборачиваюсь и тут замечаю, что не один только я кедру изучал, все наши, оказываются, коллективно интересовались, будет ли урожай на орехи...

Бяшка уже не лежит — встал, веревок на ногах нету, а на коленях около него стоит

Коля Рука Не Дрогнет, рубаху на себе до-
рывает.

Елизаров опять: «В чем дело?..»

А Коля как заорет: «Не могу, Пал Степа-
ныч, ну, что хотите, не могу, кабы не знал
его, давно уговорил бы, рука не дрогнет, а
тут свой Бяшка — ну, не могу, пускай другой
кто!..»

Я уже говорил тебе, что мы кружком по
краям брезента полеживали, ну, а кто постар-
ше, у кого, значит, кальция в косточках по-
больше, те на сиденьях (из машин повытаски-
вали) или на скатанных палатках мостились.
Только управляющий, хоть был у нас самый
пожилой, ничего такого не признавал, сидел
всегда, как индусы сидят, как йоги, знаешь, —
пятки под себя, а колени в стороны... он же
как мальчик был — худерба!..

Поставил теперь локоть на колено, голову
на ладонку боком положил: Чапай, мол, дум-
ку думает, тихо!..

Тут, и в самом деле, знаешь, тишина, даже
кукушка, и та годки отсчитывать перестала.

Он голову поднимает, Елизаров, и руками
разводит: «Придется, Генрих Абрамыч, тебе!»

Тот вытянул шею, как черепаха из пан-
циря, и опять себя пальцем в грудь: «Ми-
не-е?!»

Управляющий как всегда спокойно: «А кто
у нас герой?.. Ты.»

Генрих как сидел с вытянутой шеей, так
навзничь и опрокинулся, только сиденье
скрипнуло. Лежит в траве, руки разбросал.

«А мы ведь его к орденку представили, —
говорит Елизаров. — За стан. Хороший был
мужик... жаль! Придется теперь — посмерт-
но».

Тут Генрих — как ванька-встанька. «Не-
тушки, — кричит, — нетушки!.. Это вы уж
кого другого посмегтно, а мне, таки — ладно,
живому дайте!..»

Все, конечно, покатываются. А что ты хо-
чешь, если они уже лет двадцать вместе. Ко-
нечно, друг дружку — с полуслова...

Мы-то ладно, смеемся, а Елизаров только
все больше хмурится.

«Что-то я, — говорит — не пойму вас, орлы!..
Может, добровольцы есть? Или нету?»

Тут кто-то робко так говорит: «Пал Степа-
ныч, а может...»

И загнулся!

Елизаров будто не понял: «Что может-то?..»

«Может до следующего праздника оста-
вим?.. Бяшку?»

И все завздыхали, заворочались, что-то та-
кое забубнили...

Елизаров молчал-молчал, вроде опять думал,
потом — ворчливо так: «Бя-яшка, Бяшка!..
Придумали, как назвать!»

Ему напомнили: ну, почему, мол, — Бяш-
ка?.. Бяшка Шашлыкович, если и по отчет-
ству.

А он: «Вот-вот!.. Бяшка Шашлыкович. А
на большее души не хватило?! Он нам, как бы
там ни было, и жизнь хоть немножко скра-
сил, и стан вырвать помог, а вы?!»

И руку к барану протянул, сказал громко:
«Борис Шалвович!.. Не обижаешься на нас,
грешных?.. Нет? А ну, подойди, если простил,
Борис Шалвович! Подойди!»

И что бы ты подумал? Постоял наш Борис
Шалвович еще немножко, постоял, вроде ка-
кую необходимую выдержку сделал, чтобы
достоинство, значит, не потерять, а потом
двинулся к управляющему, а в конце даже и
шажку прибавил, и подбежал вроде... Есть,
брат, что-то такое в природе, есть!

Стал рядышком, а когда Елизаров ладонку
ему на холку положил, подогнул вдруг копыт-
ки свои, лег спокойно, как ручной, морду ак-
куратно вытянул на краю брезента.

А Елизаров попросил всех налить, правой
приподнял стакан, а левую все так и не
убирал с холки Бориса, выходит, Шалвовича.

«Ну, что ж! — говорит. — Все знаем, что чай
можно пить с сахарком вприглядку. А у нас
с вами нынче вприглядку — другое: шашлы-
ки!»

Помолчал-помолчал и уже другим тоном,
так, словно и себя спрашивал, и с нами как
будто советовался, спросил: «А, может, это
и ничего, а?..»

И посветлел лицом, и сказал: «За всех за
вас, хлопцы!..»

Ты тут побудь один... я сейчас. Чайку, по-
жалуй, поставлю...

...Ну, вот. Такие, значит, наши дела.

Остался он у нас жить. Борис-то Шалвович. И когда выезжали через год, а то и больше на следующий такой же пикничок, уже и ножика с собою не брали, а зачем?

Выпустили из машины, и гуляй себе вокруг, пощипывай травку. А то к скатерти нашей, к самобранке, подойдет, то возле одного тебе полежит, с ладошки слизнет хлебушка с солью, то потом под бочок к другому перейдет, пока не позовет кто следующий... Это уж как обычно стал, знаешь: шашлыки-то наши вприглядку. Когда бы потом на природу ни выезжали, всегда его с собой брали.

А в управлении ему отдельный сарайчик соорудили — стайку, значит, — чтобы от вы-

хлопов в гараже не задыхался, правда, бывал-то он там довольно редко, только вот разве перед выездом на природу или сразу после него, а так жил на базе отдыха, как раз успели построить — от него и пошло, между прочим, наше подсобное хозяйство, за которое нас теперь по головке гладят и не нагладят-ся... Ну, да оно ведь всегда так: потом-то и руку пожмут, глядишь, и спасибо скажут, но почему, ты мне ответь, перед этим-то душу вымотать надо?.. Почему мы друг друга не жалеем — не бережем?.. Почему понять даже не пытаемся?!

Тут стоп. Однако, точка.

Я ведь тебе обещал веселую историю, а?

Пусть пока такая и остается.

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

— Сколько уже прошло, а до сих, ты согласишься, мучаюсь, до сих пор казнию себя, до сих пор решить не могу: хорошо, брат, это или плохо, что всю эту историю знаю я, как говорится, из первых рук... да какое там!.. Выходит, что я и сам в ней участвовал. И с самого, ты понимаешь, начала.

Потому душа и болит.

Может, если не знал бы, как оно все произошло, было бы мне полегче да поспокойней?.. Или чего уж там, какой там еще легкости и откуда ее ждать, какого тебе спокойствия — от сырости заведется оно, что ли?

Давно не мальчик.

Уж лучше, какая ни есть, а правда, как говорится, и только правда...

Позвал меня к себе Елизаров.

Прислал машину, шофер его Гостя находит меня и говорит: если, мол, время есть, Павел Степаныч приехать просит.

А это у него, надо сказать, закон был: если знает, что работы у тебя не то что под завязку, а и еще больше... Если знает, что всех святых со всеми угодниками давно уже не теми, какими надо бы, поминаешь словами, — зовет к себе...

Вот я тут тебе: мол, если.

А он всегда знал.

Приедешь, накажет Ниночке никого не принимать и не соединять ни с кем, пусть хоть это сам господь бог, и, пока ты ему про жизнь свою, стройкой загубленную, толкуешь, сотворит он свою особую заварочку — на листах черной смородины, засушенных вместе с ягодой, да на пчелиной травке, на мелиссе...

Нальет тебе чашечку, спросит: «Хорошо?»

Кивнешь ему, а он: «Ну, вот... А ты говоришь!»

Сядет со своею чашкою рядом, или просто помолчит, или что-нибудь такое шутовское скажет: мол, надо, Федя!.. На кого ж нам тогда надеяться, если не на тебя?

И ты потом, когда из кабинета выходишь, невольно стараешься и бочком в дверь шагнуть, и при этом пригнуться, — а то ведь, чего доброго, косяк или притолоку разнесешь, если нечаянно заденешь: такой ты стал большой и такой сильный.

В тот раз только подсел он ко мне, только успели мы по глоточку сделать, входит Ниночка, вся виноватая: так, мол, Пал Степаныч, и так, не хотели мешать, но в приемной сидит главный врач поселковой больницы. Просит сказать ему, через сколько освободитесь, чтобы он рассчитывал, значит — обождать или на обратном пути заехать? Надо ему с вами

непременно увидятся: у Павла Степаныча, говорит, перед медиками — старый должок.

Он как-то так грустно улыбнулся, Елизаров. «Что правда, то правда, — говорит. — Должок есть!»

И — ко мне: не обижусь, если мол, медицину примет вне очереди?

Я плечами пожал, мол, какие дела, если медицина, и Ниночка наша выпорхнула и выпустила врача.

Елизаров усадил его напротив меня за длинным этим столом, поставил и перед ним свой чаек: чем, спрашивает, могу?..

Тот объясняет, что несколько месяцев назад на стройке принимали решение помочь больнице, всю работу, какую надо сделать, разбросали по-братски между трестами, но никто, конечно, и пальцем о палец не ударил, как, мол, была больница золушкой, так и осталась, — вот и приходится теперь обращаться к монтажникам: выручайте, братцы!

Елизаров так горько усмехнулся. «Да-а! — говорит. — И адресок вы верный нашли, и время выбрали самое подходящее!.. Знаете ли вы, мил-человек, что из всех ген- и субподрядчиков, из всех смежников программа у нас нынче — самая напряженная?»

А врач смотрит на него ясными глазами, улыбается дружески, говорит задумчиво: потому-то к вам и пришел, что знаю!

Елизаров чашку на блюдечко поставил: «Туп стал. Будьте любезны — просветите».

Врач как-то так пошевелился, глянул на меня искоса, но Елизаров приподнял ладонь над столешницей: «Бригадир Бастрыгин Владимир Федорович — никаких секретов от него...»

Врач кивнул, хорошо, мол, коли так, а потом раскрывает кожаную свою папку, начинает перед собою бумажки раскладывать, и я гляжу на них и ничего не понимаю: копии титульных листов, постановления Совмина, стенограммы рапортов, сводки, графики... Раскладывает он все это и примерно такую речь говорит: на прошлом пусковом объекте, мол, и объем был меньше, и сроки подлинней, а сколько, извините, среди руководящего звена случилось инфарктов?.. Четыре! Два самых натуральных, слава богу, что удалось хоро-

ших людей спасти. Третий так себе: с середины наполовинку. Можно было вообще-то за инфаркт и не считать, но уж, так и быть, пошли товарищу навстречу, дали возможность от гнева господня в отделении кардиологии спрятаться.

Ну, а четвертый, говорит, инфаркт — дело особое. Если бы вовремя человека не прикрыли, то давно бы уже не только партбилет выложил, но и даже рядом с Антоновской площадкой, не то, что на самой на ней, не работал!..

Елизаров наш улыбается тихонько: интересно ему стало. Отгадывать взялся, у кого из начальников какой был инфаркт, и все в точку — друг дружке настоящую цену они-то хорошо знают!

Глянул на меня: «Тайны мадридского двора, а, Володя?..»

А врач дальше свое гнет: на этом, говорит, пусковом объекте дела пойдут еще веселей. И больше всего, как это для нас ни грустно, достанется, мол, Павел Степаныч, вам... Программа у монтажников, и действительно, такая, что в доску разобьетесь, а в срок не вытянете.

Елизаров палец поднял: «Вот!.. Во-о-от!.. Медицина понимает. А они там?!»

И глянул в потолок.

А врач опять — в десятку: сознаю, мол, что наступаю на больную мозоль, но, сами понимаете, — у кого будет больше всего травм? Конечно, у монтажников!.. Куда потом с просьбами пойдете? Где будете участия искать?

А я сижу, думаю: правду лепит! В самое пиковое время прошлый раз у меня трое из пятнадцати целый день в тепляке без дела просиживали: у кого — рука, у кого — ключица... Спасибо тебе, что нашел! Чтобы травму активировать не пришлось. Чтобы без премимальных бригада не осталась.

А доктор уже о нем самом. О Елизарове.

Знаю, говорит, доподлинно, что микроинфаркт у вас был и что вы его на ногах перенесли. Зачем, Пал Степаныч, дальше рисковать?.. Имеет ли смысл? Сами о себе не подумаете, никто другой, мол, за вас этого не делает.

И подсовывает Елизарову листок.

Тот глазами пробежал: «Список работ, значит?...»

«Да,— тот говорит.— Вы нам делаете, что просим, а я, во-первых, обещаю вам самый благоприятный режим в отношении пострадавших от травм — дай бог, чтоб их не было совсем! — а, во-вторых, вам лично обещаю в кардиологии персональную палату... Будет стоять у меня пустая. Если вдруг станет туго, знайте, что тылы у вас обеспечены...»

Елизаров посмотрел на него долго-долго, а потом так ласково и как будто даже с восторгом говорит: «Сукин ты сын!»

Тот охотно кивнул и слегка руками развел: конечно, мол, а что делать?..

Елизаров — опять почти с восхищением: «Су-укин!..»

И опять тот радостно кивнул.

Тогда Елизаров спрашивает: а правда ли, что главный врач — кандидат наук?..

Да, отвечает. Правда.

А по какой же части?

По части организации здравоохранения.

Так что ж вас, Елизаров говорит, выходит, этому обучали: в труднейшей производственной ситуации мертвой хваткой взять хозяйственника за горло и тут, мол, его и подавить?!

А врач смеется: нет, мол, это жизнь такой путь подсказывает, а то, чему нас, Павел Степанович, учат, — разве это хоть когда-либо потом пригодится?.. Я, говорит, даже думаю другой раз, что на самом-то деле мы не учим, а наоборот мы отучиваем. Если, говорит, за критерий и принять как раз, ее, живую жизнь.

Как-то он так тогда сказал.

И Елизаров поулыбался горько и покивал ему.

Потом ко мне поворачивается: «Как же ты, Володя, думаешь? Что бы мы с тобой сделали с товарищем организатором здравоохранения, если бы взамен обещанных монтажникам благ он бы нам предложил не кнопки для вызова сестричек в палатах поставить, а собственную дачу ему отремонтировать?..»

Я говорю: вышвырнули бы за дверь. Как минимум. А то бы и выбросили в окошко.

«А ведь он для дела старается, — говорит Елизаров. — Представляешь?»

Я только вздохнул. Хотелось мне что-то такое сказать: помочь бы, мол, надо. Но я сдержался — как чувствовал!

Пододвигает вдруг Елизаров эту бумажку ко мне и говорит: «Володя!.. А может, выручишь? Ты?.. Потому что, кого еще просить? У всех дел повыше горла, не хуже меня ты это знаешь... Сделай, я тебя прошу. Для меня. Могу я к тебе хоть раз — с личной просьбой? Я твой должник буду. Я отдам. Верь. Но сегодня — выручи. Сделаешь?! И пускай это будет наша маленькая тайна...»

И грустно так улыбнулся.

Но это все я уже потом стал понимать. Задним числом. Тем самым задним умом, на который крепко, говорят, русский человек...

А тогда я только молча свернул листок, положил в кармашек к себе и встал. «Спасибо, — говорю ему, — за чай. Очень, — говорю, — хороший чай. Сладкий. Да жаль, идти надо».

А он руку мою прихлопнул своею, задержал на миг на столешнице.

«Но учти, — говорит, — что ответственности за основную работу это с тебя ни в коем разе не снимает. Ты понимаешь? Кровь из носу, а сдай в срок. И, где бы я ни был, тут же доложи».

У него закон был: ночь-полночь, а если дело какое важное закончил, едешь к нему домой, а может, в гости, вслед за ним, если он в гостях, такое, правда, бывало редко — когда ему? В баньку случалось чаще, баньку, со всякой травкою тоже, — это он любил крепко: одна, говорил, радость и один отдых...

А как-то раз, знаешь, я что? Он на каком-то совещании в Киеве, а я работу закончил до времени, и — в Киев!.. Хочу, говорю ему, доложить... Рад был! Перед каким-то начальством извинился и повел меня в лучший ресторан. Молодец, говорит, что прилетел!.. Главбух, правда, не хотел потом командировку оплачивать, дело до третьей резолюции дошло, но Елизаров после остальным бригадирам на полном серьезе меня в пример ставил: вот, мол, братья-славяне — учитесь!

Умел он, скажу я тебе, конечно!

Знал, скажу.

Чувствовал.

Понимал.

А может, просто, — любил?..

Что ж теперь... Теперь что ж.

А когда я вышел от него в тот раз, в глазах у меня было от обиды темно. Вот такие, Володя, говорил я себе, дела! Пошел по шерсть, а вернулся стриженный. И будешь теперь кнопочки по больничным палатам ставить. Кнопо-пушечки. Кнопо-пулечки. Кнопо-пупочки!..

Стал в тресте на крыльце, думаю: неужели и наш Елизаров скурвился?

Коечки, видишь, ему персональной захотелось.

Если уже и Елизаров, думаю, — тогда все!..

И, знаешь, что я первым делом решил?

Снял я всех до одного своих орлов с главного корпуса и бросил на больницу. Эти самые кнопопулечки ставить. Кнопопупочки.

И ребята мои, мастера, которым цены нет, национальное богатство, как сказал про них один добрый и понимающий, главное, человек, асы, понимаешь, удалцы-ребята эти, как петеушники на производственной какой-либо практике, и долбили стены, и тянули кабель, и бетонные унитазы, которые какой-то большой ученый специально для Сибири сообразил и которые, конечно, стали потом на куски разваливаться, меняли на фаянсовые, и сварили какие-то кронштейны, подставочки, крючочки... И по палатам вместе с разводкою из трубок оставляли, как трофей, кислородные баллоны с меткой нашей бригады — с моими, выходит, инициалами. И чуть ли не со слезами отдавали другие годами накопленное добро...

А что, говорил я себе, Володя, поделаешь, если надо обеспечить тылы для нашего дорожного, всеми горячо любимого Пал Степаныча? Для Елизарова. Для товарища управляющего трестом.

Сейчас вот спичка догорит... видишь? Вот какой я в те дни стал черный. И такой худой.

Генрих, снабженец наш, от меня буквально прятался, потому что я на полном серьезе пообещал ему... одним словом, пообещал. Если срочно не укомплектует бригаду всем, что мы больничке подарили, чтобы «заткнуть пасть»

товарищу кандидату наук. Специалисту в области организации здравоохранения... Выражение, pardon, не мое.

Игоря Проникина.

Хоть я ни с кем из ребят не поделился, только Надюше своей обо всем рассказал, нашу с управляющим «маленькую тайну» многие, конечно, тут же раскусили, и слухи по тресту поползли один другого чудней, хоть все они в конце концов в одно упирались: в эту самую персональную коечку в отдельной палате...

Дальше что?

Когда вернулись на главный корпус, я с первого же дня задал такой темп, что мальчики мои в электричке тут же на плече друг у друга задремывали — один раз было, поверишь, проспали поселок, всей сменой в город укатили, там нас на вокзале растолкали, когда вагоны обходили, перед тем как электричку в тупик загнать.

И ребят замордовал, и сам, брат, дошел почти до точки. Тянул на одной злости: посмотрим, говорю, Пал Степаныч, это мы еще посмотрим, кто из нас первый попадет в кардиологию, ты, Пал Степаныч, или — я!..

Много на себя брал.

А подзалетел, конечно, он. Елизаров...

Объясни ты мне, темному! Предположим, трактор. На двести «лошадей». Средний. А груз такой, что утащить его, — пятьсот «лошадок» нужно. И не под горку. И не по снегу там. Без всяких этих.

Будут ли пытаться сделать это одним трактором?..

Да не станут и пробовать!

Найдут по крайней мере еще один такой же, поставят связкой.

И никто при этом не вздумает пинать в траки сапогом и поливать конструктора или тех, кто его, этот трактор, сделал.

Двести «лошадок», значит — двести. И весь спрос.

А вот с человеком — другое дело. Он у нас вроде все может. Он — двуужильный.

Объем у нас в тот раз, и в самом деле, такой был, что тресту никак не вытянуть. Простая арифметика. Должно, и ежику ясно.

Но вот вместо того, чтобы без лишних слов

ресурсами помочь или хоть пару-тройку узелков кому-то другому перекинуть, говорят вдруг: плохо воспитательная работа поставлена. Потому-то, мол, трест и спотыкается.

Ну, причем тут?!

На каком-то высоком совещании, на стройке их тогда чуть не каждый день проводили, и давай Елизарову пенять: и то в этой самой воспитательной работе у тебя не так, и это — тоже не так. Чего только не наговорили!.. Какое только лыко в строку не поставили.

Мне вообще-то ясно: нужна встряска. Для того и накручивают, для того начальника и заводят, чтобы он потом в свою очередь — да еще, может, в тройном размере — своих подчиненных подзавел, а те в свою очередь — своих. И тэда, как говорится, и тэпа: Пока не дойдет это все в конце концов непосредственно до электросварщика Ивана Чернопазова и не шарахнет его таким манером, что вместо положенных за смену тридцати швов он тебе девяносто сварит... эхм!..

Тогда ты уж дай химикам задание: пусть особую таблетку придумают. А ты потом только скажешь: понимаю, дорогой Пал Степаныч, что работник ты золотой, дай я тебе руку за это пожму, дай обниму тебя, но ситуация нынче такая, что деваться нам некуда, — вот тебе, брат, таблетка, от которой у тебя энергии станет вдвое — ну, маленько, правда, при этом тебя и поколотит... Маленько и потрясет. А эти вот таблетки ты раздай всем своим остальным: это для начальников управлений, это — старшему прорабу, это — мастеру, а это персонально — Чернопазову Ивану. И те же самые слова сказать им не позабудь. И руку пожать при этом. И обнять.

Ну, не справедливей ли будет, ты скажи?..

А в тот раз давай шпынять Елизарова. Один больно, а другой — и еще больней. Как будто и они — соревнуются.

Очередной оратор и говорит: мол, в чем беда?.. А в том, конечно, что не дошли до каждого. А почему не дошли?.. Да потому, что, мол, руководителям монтажного треста некогда этим заниматься — у них совсем другие заботы. Завели, видите ли, в тресте барана, и все внимание — только ему одному, чуть не молятся на него, на руках его носят,

куда ни едут — с собою непонятно зачем берут... Я, говорит, не убежден, что и на это совещание монтажники его с собою не привели, — так, мол, товарищ Елизаров? Что вы на это скажете?..

А Елизаров поднялся и громко, на весь зал, и говорит: «Нет, не привели! Здесь и без него баранов достаточно!»

Сказал и как-то вскинулся, говорят, будто бы в грудь его толкнули. Пошел между рядами, открыл дверь...

В спину ему, конечно: «Кто вам давал такое право, покидать?.. Вернитесь, товарищ Елизаров!»

Но он там уже попросил вызвать скорую.

А назавтра по стройке — слух: лежит Елизаров в персональной своей палате и в потолок поплеывает... Никого к нему не пускают, не положено, и он спокойненько себе смотрит цветной телевизор, свежие журнальчики листает, армянский коньячок пьет. Чем не жизнь?!..

Тут как раз мы свою работу закончили, всего ничего осталось, я говорю Проничкину: надо нам завтра к вечеру Елизарову доложить.

Игорь только прищурился: «Ясененько!..»

Пошел на хлебозавод, позаигрывал там с девочками, зубы им позаговаривал, и дали они ему напрокат два халата и два белых чепчика, какие пекари носят.

Взял он с собою этот чемоданчик, «дипломат», и за углом больницы надели мы с ним халаты, а потом он достал еще очки для меня — я в них налетел потом в коридоре на пожилую нянечку, думал, бедную, с ног собою... И достал пару столовских беляшей, какие ни один нормальный человек есть не станет, а только так: или слишком ученый, или совсем задержанный.

Откусили мы по кусочку, и — вперед.

«А знаете, коллега, — громко говорит он с набитым ртом, — бывали с больными случаи, когда...» И дальше такое засвечивает, что и повторить сейчас не сумею — недаром он все деньги на книжки тратит.

«Да, конечно, — я громко соглашаюсь. — Но ведь не станете вы, кандидат наук, отрицать, что бывает совсем наоборот?..»

И проходим благополучно и через приемный покой, и по коридору, и с этажа на этаж, и в эту самую кардиологию, куда никого пускать не положено...

Нашли персональную, значит, эту самую палату, приоткрыли дверь.

Телевизор и в самом деле работает, и в самом деле, цветной, но Елизаров, решили мы, убрал звук, отвернулся к стенке, думали — спит...

Одернули халаты и чепчики поправили, присанились, собрались уже в палату шагнуть, как тут вдруг нас оттолкнули, и мимо промчался в дверь один врач, другой, третий, потом туда покатали какую-то тележку с приборами, и Елизарова обступили, и две сестры сразу стали делать ему уколы, и все заговорили громким шепотом, потом еще громче, еще, и тут как оборвало — раз, и смолкли...

Такая вдруг стала тишина!

Мне показалось, слышу, как халаты шуршат, когда руки у них у кого опускаются, а у кого просто падают. Как плеть.

Потом вдруг ожил главный врач, засуетился, заторопил всех, забегал, затормошил, заговорил с жаром, но все остальные только молча качали головами: мол, поздно. Уже, мол, — все.

Определили потом: обширный инфаркт.

И в самом деле — второй...

И все-таки говорят, можно было человека спасти, если хватились бы они вовремя... А им, видишь ли, и в голову не пришло, что человеку плохо — думали, предложением отлежаться решил воспользоваться...

Такие дела.

Все этот кандидат наук, организатор здравоохранения, просчитал. Все предусмотрел. Все учел. В одном ошибся: Елизарова не понял.

Не было у него в душе двойного дна. Ну, что поделаешь, — не было!

Не тот характер...

Когда схоронили Пал Степаныча, когда уже сели поминать по-монтажному обычаю чистым спиртом, подошла ко мне его жена Марья Даниловна, села рядом, опять заплакала...

«Это я, говорит, — дура такая, виновата!.. Это я его не уберегла. Разве можно было ос-

тавлять его одного в такое время?! А я додумалась — я оставила! За внучонком поехала... Затем, выходит, чтобы и его, кроху, на похороны деда привезти!»

Переплакала, и опять: «Как я могла, — говорит, — его оставить?! Кабы не знала его болячек, тогда простительно, а то ведь кто их все и знал-то, как не я одна?.. Еще, говорит, в сорок четвертом. Рядом с передовой. Вбегают в хирургию ночью танкисты. Прямо на танке к полковому госпиталю подбехали... Сестрица! — говорят. Сказали нам, что наш капитан у вас скончался, а мы не верим: не может быть!.. Не уедем, пока не убедимся!.. Всех обойди, всех посмотри, и нам скажи... Глянула по списку, а он уже, и в самом деле, в подвале. Нашла я. Посмотрела... лицо такое хорошее! Да только уже такое спокойное... Поплакала я над ним: ну, куда?! С таким ранением любой не выжил бы — вся задняя часть черепа открыта. Я вспомнила: наш главный перед этим только глянул — не стал и оперировать. Только и того — кивнул, чтобы в подвал... Вышла, говорю танкистам, а они, ну ни в какую: не может быть, и все! Веди, хотим увидеть сами. Повела... Они как только глянули: сестра!.. Да ты не видишь, что он дышит?! Я опять над ним наклонилась: вроде правда... Тогда они за пистолеты и — к главному. Почему не хочешь оперировать?!.. А тот уже старичок был. До войны в институте преподавал. Профессор. А чуть ли не с первых дней — на передовой. В полевом госпитале. Он им теперь и говорит: понимаете хоть, что в мои-то годы я мог бы спокойно работать где-либо в тылу?.. А если я здесь, значит, здесь я нужней, и время свое ценю. Извините за правду, но за то время, пока я буду возиться над вашим капитаном, который все равно ни при каких обстоятельствах не выживет, я успею спасти десяток других... А рядом гремело, и мимо этих танкистов с пистолетами наши девочки, говорит, все тащили носилки и тащили... Главный: «Все, — говорит, — разговор окончен, как старший по званию приказываю очистить операционную, приказываю мне не мешать!..» Тут я не знаю, что такое со мной случилось: схватила, говорит, его за руку, стала просить. Танкисты

видят такое дело, один и говорит: это ее будущий муж, поймите, доктор!.. А главный: да?— спрашивает. Жених?.. Ну, только ради того, чтобы совесть моя была перед сестричкой чиста, я попробую... Положили, говорит она, Пал Степаныча на стол, и до утра не отходили от него ни доктор этот, поклон ему до земли, ни я... Когда закончили, главный говорит: ты понимаешь, Маша, что мы с тобой сделали все, что могли, и все-таки это в его положении — не главное?.. А главное, как за ним теперь будут ухаживать. И уж если ты хочешь, чтобы труды мои не пропали даром, и если он, и в самом деле, тебе жених — не бросай ты его! И отвези в тыл сама, и первое время присмотри... И как поехала я тогда с ним, так только через четыре года Павлик вслед за мной из госпиталя вышел. Уже война давно кончилась, а я от него все не отходила... В каких только городах за это время не побывали, у каких только врачей его не лечила, и все к нему постепенно вернулось — и память, и слух, и зрение... А после, говорит, уж чего я только ни делала, чтобы его сбережь, чему только в жизни ни научилась — вот почему не жил он без бани да без травок, а про врачей забыл... А это, говорит, месяца три или четыре назад приезжает домой — мрачнее тучи. Что, спрашиваю, такое? А он,

мол: сегодня мне, говорит, мать, напомнили медики, что у меня перед ними должок старый и стало мне стыдно, мать... Столько времени прошло, а так и не успел отдать, а теперь уже всего ничего и остается: неужели, говорит, думаю, — так и не успею?.. И, знаешь, мать, что?.. Стыдно сказать, но переложил я эту заботу на чужие плечи, на бригадира Бастрыгина, которому и так вздохнуть некогда. Одно оправдание, мать: не для себя ведь. Может, говорит, Володя потом правильно поймет, что дело это ничем не замаранное. Чистое дело. Может, мне, старому, простит?»

...Когда вышли мы поздно ночью с поминком, не знаю, зачем, оторвался я от своих, пошел по городу...

Неизвестно зачем взял такси.

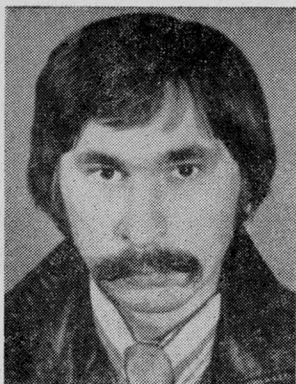
Не понимал сперва, куда еду.

А потом, когда уже поселок проскочили, когда справа от бетонки замелькали огни промбазы, сказал, чтобы подъехал он к конторе управления.

Расплатился, вылез там, пошел потом к этой стайке, где жил у нас последнее время Борис Шалвович.

Включил свет, и он поднялся на соломе, ничего не понимает.

Стал я на коленки, обнял его и, скажу тебе, тут не удержался, заплакал...



СУДЬБА

Потом это станет судьбой:
прощанье с отчизною милой,
ослепшее небо над миром,
как мамин платок голубой.
И поезд — на запад от Бреста,
сначала вокзалы — потом,
оставшись на стройках и фресках,
вся Русь пропадет за холмом.
И юность начнется сначала,
вернее — продолжится вновь,
но с необъяснимой печалью
повенчана станет любовь
к вечерним готическим шпилям,
к домам, как к древнейшим томам,
в которых изысканным штилем
смущали всеведущих дам
и Гете, сдружившийся с чертом,
и Лютер, швырнувший в него
чернильницу с явным расчетом
себя запродать самого.
Но главное — утренний Лейпциг,
как праздник душе и уму,
когда ты, свободный от лекций,
спешишь на свиданье к нему,
точнее — в бессонную кирху,
где пробует Мастер орган,
который рыданий и криков
пока еще не исторгал.

Ты знаешь — здесь рядом, в неволе
спит Мастер... О, нет, он не спит!
Как будто на минное поле,
ступая на чопорность плит,
тыходишь с волнением и страхом,
оставив чуть-чуть в стороне
могилу могучего Баха,
недремлющего в глубине.
Ты знаешь — вот чудо начнется:
и двери сорвутся с петель,
и сердце твое разобьется
в предчувствии страшных потерь,
когда это время растает,
едва прозвенев над тобой,
когда эта музыка станет
провиденьем, жизнью, судьбой.

ДОМА

Ночь какая! Нет спасения
в предрассветный звездный час.
Словно новым, свежим зрением
я увидел в первый раз:

это детство в небе светится
и; тоскуя высоко,
из ковша Большой Медведицы
пьет парное молоко.

* * *

...И никого, и снег стоит
под небом пепельным и мгlistым,
как будто снегу предстоит
решиться снова в путь неблизкий.

Меня впускает этот снег,
как будто все он понимает,
и в две строки пунктирный след
за мной теряется и тает.

И там, ему принадлежа,
я растворяюсь в горе белом,
где детская моя душа
в разладе с совестью и телом,

где сны летят сквозь снег и тишь,
меня крылами задевая,
туда, где ты в слезах стоишь,
моей свечи не задувая...

* * *

Были бы живы мать и отец.
Все остальное потом образуется,
где-нибудь,
как-нибудь,
да образумится
женщина,
жизнь,
строка наконец!

Сердце мое, все в неясном «потом»
мы с тобой вытерпим,
вынесем,
выдюжим,
лишь бы нам знать, что не брошен,
не выстужен
солнцем прогретый родительский дом.

* * *

Видел страны в их несказанной красе,
было столько дорог и от жадности и от бога.
Но дорога от деревни к шоссе
стала самой главною в жизни дорогой.

А всего-то в ней полтора километра
околицей, полынным оврагом и полем.
Мне всегда не хватало простора и ветра —
кровь цыганская подмешана, что ли?

Меня любили, и подставляли подножки,
так что выбрать нельзя было: «или — или».
А где-то в доме за бессонным окошком
любили, когда приезжал, и когда уезжал — любили.

Но в конечном счете всегда получалось,
что было больше прощаньем одним.
И всегда не сходились на самую малость
память и жизнь с возвращеньем моим.



СПЛОШНЫЕ ВОПРОСЫ

Маленькая повесть

Знаете что?

Если взрослые полагают, что им на словах можно быть примером, а в жизни можно и отступить от провозглашаемых в назидание нам истин, то будто бы это пустяк! Будто бы незаметно!

И когда говорят и пишут о проблеме «отцов и детей», то разве же неясно, что никакой такой особой проблемы нет — есть это вот самое: расхождение между словом и делом.

А когда вырастем мы и у нас будут свои дети, то не забыть бы и нам. Вот и все. Тогда никаких «специальных» проблем не останется — только общие. Все очень просто. Мамы и папы, подумайте об этом.

И еще. С вашего позволения, напомним одну эпиграмму своего любимого поэта Маршака.

Он взрослых изводил вопросом «почему?»

Его прозвали «маленький философ».

Но только он подрос, как начали ему

Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому

Не досаждал вопросом «почему?».

Вот какую речь я сочинила. Жаль, что поздно, — совместное, учеников и родителей, классное собрание уже прошло. Это Кузьмина Галинична, то бишь Галина Кузьминична, решила, что — пора. Докатались.

— Зеленцова, — сказала она, — я надеюсь, явка будет обеспечена.

Зеленцова — это я. Староста 9-го «А» класса.

А нам самим интересно. Хотя отнюдь не кажется, что «докатались». Собственно, до чего? Просто немножко устали, а на улице уже весна, вдобавок пасмурная. Вот и сбой: естественно. Учителям же и родителям нужны порядок и бесперебойность: чтобы не слишком отвлекаться от своих взрослых дел. Тоже естественно.

Но и на собрании я выступила, ребята хлопали в знак согласия, а Енькин подмигнул. Он вообще называет меня так: мать-заступница. Его-то как раз по предмету эгоизма и спаскала всенародно собственная мама.

Высказывалась я по теме.

— Да наукой, — сказала, — доказано уже, что эгоизм вовсе не от переизбытка любви, внимания и прочих благ, но от недостатка их в детстве. От недостатка родительского внимания. Так что... — И села.

А когда расходились, мамаша Енькина на крыльце ворчала другой мамаше:

— «Наукой доказано!» Берут тем, что нам читать некогда. Что хочешь выдумают, а скажут: прочитали.

Ну уж, некогда. Моим же есть когда. А телевизор, например, всем есть когда.

На собрание, правда, ходила Альбина: папа работал, а мама прихворнула. Кстати, сестра окончила эту же школу, двенадцать лет назад. С золотой медалью. До которой, кстати, мне не дотянуть.

В общем интересные разговоры были-таки, я даже теперь еще продолжаю. Хотя моих-то родителей это не касается — у нас в семье подобной проблемы не существует. Надеюсь на то же и впредь.

А еще эти монологи я сочиняю теперь за-тем, чтобы...

— Зеленцова, вы почему не читаете материал? За окном что-то интересное?

Кузьмина Галинична, наш географ и классная, уверена, что дома мы, конечно же, ничего не учили, вот и дает великодушно перед опросом очко форы — две минуты.

— Я материал знаю, — отвечаю я.

— И все-все знаете?

— Все-все. — И продолжаю смотреть в окно.

Там действительно интересное: наконец-то очистилось синее небо и денек повеселел.

— Сейчас проверим. Класс, учебники закрыть. К доске, Зеленцова.

Иду к доске. К карте. Гоняет долго и нудно. По новому материалу и по старому. А за четверть, между прочим, отметки уже выставлены.

— «Четыре», Зеленцова.

Выше мои ответы не оценивает никогда. И за что не любит? Загадка. Я уже не обижаюсь, но все-таки не теряю надежды на перемены. И хотела бы понять, почему так. Почему то спрашивает на каждом уроке, то забывает на месяцы.

Даже за карты выше «четверки» не бывает. А уж как стараюсь! Кузьмина Галинична долго рассматривает, потом сухо так: «Могли бы и почище сделать, вы согласны со мной, Зеленцова?» Я пожимаю плечами.

Вычерчиваем график. Раз, два — просто. Уж тут, казалось бы, без разницы, как сделано, хотя сделано чистенько: стараюсь! Она останавливается возле моей парты:

— Хм. А почему цифры вниз? Сверху бы лучше. Согласитесь же, Зеленцова, что сверху было бы красивее.

Класс отзывается смешками.

Мама говорит, нет худа без добра: зато географию знаю, зато много читаю дополнительной литературы. (Например, сейчас плаваю вместе с Туром Хейердалом, а заодно в тундру заглядываю).

Я возражаю маме:

— Это — я. А если бы кто другой? Если бы Енькин? Он бы и на «два» не захотел знать.

Иногда я думаю, что наша классная — несчастливый человек, что-нибудь неладно в ее личной жизни — и придумывает себе лишние заботы вроде пристрастного отношения к некоей Зеленцовой Марии, особы вполне безобидной, уверяю вас.

Или уж смотря какой человек: слабый или сильный? Вот от математички Зинаиды Андреевны, все знают, муж ушел к другой женщине. Она пишет на доске, и мелки ломаются в ее пальцах. Но ровна по-прежнему, по-прежнему строга и доброжелательна.

Впрочем, вздор: от Кузьмины Галиничны муж не ушел, они вместе приходят на работу (он наш физрук), в сад за дочкой ходит тоже он. Такой респектабельный мужчина. С усами. Ироничный, но добрый.

А она — тоже ничего внешне. Сравнительно молодая, лет за тридцать. Одевается модно.

— Староста Зеленцова, прекратите, наконец, смотреть в окно!

Я — прекращаю. Но и так все слышала.

А сижу я на предпоследней парте, всех вижу.

Сижу с Ларисой. Сегодня ее почему-то нет в школе. Обычно заходим друг за другом, но сегодня не зашли, я опаздывала.

Все равно Юра Севостьянов оглядывается: привык. Не оглядывайся, Юрочка, у Лариски другой мальчик, из техникума.

Кравцов опять читает книгу. Кузьмина Галинична видит, что я смотрю в окно, но не видит, что Кравцов всегда на ее уроках читает книгу, на темы отнюдь не географические.

А Валя с Оксаной, делая меланхоличные лица, перебрасываются записками — неотложные сообщения. Мы собираем макулатуру, гоняемся, понимаешь ли, за каждой бумажкой

(теперь никто ведь не желает отдавать, берегут на книжные талоны!), а Валя с Оксаной переводят бумагу пачками. Надо шутки ради подсказать комсorghу Лебедевой, пусть заострит вопрос.

Бореньку Савченко пригрело солнышко, и он встал в дремоту, как бы взаправду не уснул. Сегодня он всех поразил новыми брюками. Мальчишки проявили большой интерес: брюки-то полосатые, самые наимоднейшие, причем полосатости самодельной и широкой. Спрос и острый дефицит рождает предложение и изобретательность, полосы достигаются методом особого складывания и хлорирования. Боренька первый рискнул опробовать сей метод на своих одноцветных брюках — и вот, фирмат-класс. Правда, Кузьмина Галинична запретила являться в школу в таком наряде, чтоб, значит, первый и последний раз, чтобы не выходил сегодня на переменах. Вот Боренька и увял без разминок.

В общем, как поет Енькин, сидящий за нами, «мне сзади видно все, ты так и знай».

Из школы иду с Валеркой из параллельного «Б». А поскольку от школы до дому идти всего ничего, то постояли у моего подъезда. Валерка уговаривал пойти в субботу к какому-то родственнику, ему уже двадцать лет.

— Послушаем новые диски. Послушаем интересных людей. Я позвоню тебе, ладно?

— Там увидим.

— У меня тоже есть новый диск.

— Какой?

— А вот приходи — услышишь.

Я поморщилась. Валера увял.

— Сам придешь, — поправила я.

— Говорят, ты с тем, из четырнадцатой школы, встречаешься? — И он стал подпирать коленом «дипломат».

— Из четырнадцатой, — подтвердила я.

— Он музыкой увлекается?

— Как все. Ну, пока.

— Пока.

Валерку мне жалко. Но не слишком, ведь мы все равно в прежних отношениях. В дружеских. Мы выросли в одном дворе. По просьбе его папы я с ним в шестом — восьмом классах занималась математикой. Он аккуратно, строго в назначенный час приходил к нам

с тетрадками и всем в нашей семье нравился. Но с самого детства и дома и во дворе все, кроме Альбины, подшучивали: жених и невеста. Очень даже неумно! К тому же, Валерка эти шуточки выходили боком: я раздражалась и им тяготилась, а то и поколачивала его. Ну, не в шестом, конечно, классе — в начальных. Валерка закрывался рукой и плакал, но до сдачи не додумывался: вежливо был воспитан. А лучше, если бы не столь вежливо!

Его бабка меня не любит. То ли из ревности, то ли в отместку за давние Валеркины слезы, то ли просто так, от вредности. Раньше я нарочно, из чувства противоречия заходила к ним домой, но потом, поумнев, перестала.

— Ишь, с девчонками! — гневалась бабка, нимало не стесняясь моим присутствием. — Да у нее на голове бомбошки! И сама она бомбошка! И в голове у нее бомбошки!

(На голове — это берет с помпоном).

Дома никого, все на работе. Раздеваюсь, включаю плитку — разогреть приготовленный Альбиной обед, притаскиваю туда же, в кухню, телефон.

— Ларис, привет. Заболела?

— Нет.

— А что?

— Да так. Не хотелось никого видеть.

— Завтра придешь?

— Не знаю.

— А что мне Кузьмине ответить?

— А меня только что Сергей Васильевич видел, я из кинотеатра выходила.

(Сергей Васильевич — муж Кузьмины, наш физрук.)

— Ты в кино ходила?!

— В кино, — вялым, бесцветным голосом подтверждает Лариска. — Все вы посмотрели «Розыгрыш», а я нет. Вот и пошла.

— Ну, и как?

— Фильм что надо.

— К тебе прийти? — спрашиваю.

— Не надо.

Я уже почти оскорблена, но виду не подаю. Да если бы она знала, что у меня-то самой!

— Маша, я позвоню тебе. Знаешь, мне сейчас... Я позвоню. — И Лариска первая кладет трубку.

Ладно, я ведь и сама молчу о своем воскресном происшествии.

Котлеты успели пригореть. Да мне последнее время и не естся. Вынесу в подъезд: хоть кошкам польза.

Следующий день — последний в четверти. Лариска снова прогуляла. Значит, серьезное что?

На каникулы нам кое-что задали, в том числе сочинение по «Войне и миру».

Кстати, со словесником Серафимой Михайловной — Фифой для краткости — у нас тоже сложноватые отношения. То есть, хочу сказать, не у меня одной. А Фифой не мы называли, она к нам такое прозвище уже принесла. Не знаю, от слога ли «фи» в имени, от всего ли остального.

Итак, об отношениях.

Серафима Михайловна учительница, вероятно, хорошая, а свой предмет, уж несомненно, любит. Но вот какая штука: едва мы станем спорить, настораживается. Хорошо, если спор в рамках заданного ею направления, в рамках ее интерпретаций, — и совсем иное, если за рамки вышел, если мнение высказано противоположное. Казалось бы, это-то и интересно! Серафима Михайловна сама так говорит: «Это интересно», — но слушает уже нетерпеливо. Лицо её, усмешка, жесты прямым текстом телеграфируют: «Вы ошибаетесь, это неверно, все не так!» Причем — загода, когда еще не выскажешься вполне. Может перебить, на ходу поправить. И теряется желание спорить, не чувствуешь готовности воспринять всерьез что-то твое. А где, как не на уроках литературы, нам поговорить обо всем самом-самом? Где бы не столько вправляли наши мысли в рамки общепринятого, учебного (или — лично преподавательского) мнения, сколько бы позволяли разговаривать, то есть мыслить вслух. Пожалуйста — воздействуйте, поправляйте, но не заранее же имеющейся установкой на непогрешимость собственного мнения, но — убежде-

нием, основанным на наших же логических неувязках, на несостоятельности наших доказательств, подкрепляя примерами! Пощаще бы вспоминали о Сухомлинском!

Это — вообще. А если конкретно об уроках литературы, то как раз не на логике, наверное, основаны беседы, и вся-то литература отнюдь не догматы. И будь наши уроки другими, класс наверняка стал бы дружнее.

Между прочим, это еще не пример, что Достоевского весь мир почитает за гения. Енькину это не пример. Енькину скучно читать программный роман «Преступление и наказание», он бы заболел. Но фильм Енькин видел дважды и сочинение писал по фильму. Ну и что? Вот у нас мама и папа тоже не хотят читать Достоевского, а мы с Альбиной читаем. Ну, и что из этого? Ровным счетом ничего.

В школе, конечно, иное дело — в школе программа. Но сочинение Енькин сдал. Про свое отношение к Раскольникову-Тараторкину и про то, что, собственно, роман начал читать и бросил. Мог ведь и не откровенничать, тогда все было бы нормально и балл не снижен. И не пеняли бы потом старым грехом. А то:

— «Преступление и наказание» Енькину прочесть неинтересно, зато повышенный интерес к своей внешности. Енькин, вы думаете, длинные волосы — это красиво? Или модно? Вы глубоко ошибаетесь — длинные волосы уже не в моде. Например, на Западе, которому вы, вероятно, подражаете.

При чем, спрашивается, Запад? И какая тут параллель: Достоевский и длинные волосы? Нет, лишь личное неприятие, и вот уже из одного факта выведен нравственный облик носителя тех злополучных волос! Авансом. Рассказывают, в шестидесятых годах иные учителя учиняли в школах насильственную стрижку: борьба со стилигами! Я бы не удивилась, узнав подобное о нашей Серафиме Михайловне.

Ей уже лет пятьдесят. Скоро на пенсию. Носит парик! Парик — это сейчас модно? Например, на Западе, я слышала, снова в моде естественные волосы. В наших столицах — тоже. Ну, это я так, к слову.

Так вот, Енькин ответил правильно:

— Весь мир знает и ценит гений Шекспира, а Толстому Льву Николаевичу Шекспир не нравился.

— Толсто-ому! — пропела Серафима Михайловна. Этим было все сказано: нашел, с кем себя сравнивать.

Я с детства люблю менять ударения в словах, сознательно ошибаюсь. Люблю пробовать слова в новом звучании: вдруг услышится новое во вполне обыденном слове, тайный его смысл? А также — в восприятии другими. Мама сердится, Альбина улыбается (и дала мне интересную книжку — «У истоков слова», учебник по этимологии). А Серафима Михайловна ревностно вступает на защиту языка:

— Что за эксперименты, Зеленцова?!

Но, к примеру, если Д'Артаньян оканчивается ударно, то это естественно: человек тот настолько жив и непоседлив, что не успеют спохватиться, а он уже вон где, только концы конские простучали: Дар-тань-ян! И строгое, затушеванное в мундир приличный и в тайну, краткое имя Атос. Утвердительно и беспрекословно, с обязательным ударением на втором, последнем слоге.

Зато — Пóртос. Толстый, огромный, добродушный человек. В «Пóртосе» же нет этой его широты и массивности, а в протяжности «Пóртоса» — есть: более соответственно.

Я знаю, что все французские имена собственные произносятся с ударением на последнем слоге, но мне всегда хочется проверить звучание слов по-разному. Про себя бы, не на уроке? Нет, этого мало мне. Правда что, противная.

Но это у меня началось не сразу — такие вот «отношения». Просто было одно «однажды». Совершенно случайно, стоя в очереди за апельсинами, я подслушала такой диалог:

— Знаете, нигде не могу достать.

— А я вам помогу. У меня там знакомство. Правда, пользуюсь им я крайне редко...

— Вот видите!

— Ничего. Я с ее сыном когда-то много занималась дополнительно.

Короче, вторым голосом была Серафима Михайловна.

Безусловно, помогать надо. Но — если бы не это добавление: пользоваться услугами

взамен за давнишнее усердие в своей работе! И сколько же лет той мамаше отслуживать?

Я в той очереди стояла впереди и в новом, с капюшоном пальто, поэтому, возможно, осталась неузнанной. То есть я надеюсь на это.

Альбина попробовала охладить:

— Категоричность — положительное качество? Нельзя по одному факту, причем неполному, судить о человеке.

— Аля, ты стареешь!

Разговор происходил на нашем так называемом домашнем, дважды в месяц, педсовете.

— Разве тебе, Аля, нравится такое в человеке?

— Нет, не нравится.

— Почему же должно нравиться мне?

— Не должно.

— Тогда почему я не могу возмутиться?

— Можешь. Если сама безупречна. Вспомни, как полтора года назад ты...

И тут вступился папа. Он сказал:

— Учитель в любом случае, действительно, должен быть безупречным, на то он и учитель. Кому-то слабости простительны, ему — нет. Но права и Аля: мы не знаем, как там оно на самом деле и какая помощь требовалась. А если — лекарство тяжелобольному? Та фраза могла и просто вырваться. Да и в другом Аля права: а сами-то мы? Во всем ли безупречны?

А мама не высказалась.

Между прочим, чем не тема для продолжения разговора на том совместном классном собрании?!

А наш очередной домашний — через неделю. И мне, вероятно, придется рассказать о том, что значило мое появление в передедом виде на улице. Альбина не спросила — значит, отложила до «педсовета». Или, может, ждала, что сама объяснюсь.

А я пока размышляю. Пока — одни сплошные вопросы. И внутренние монологи на посторонние темы. Как в зеркало все разглядываю.

А с передедеванием обстояло так.

Есть в нашем классе девочка Света. Всего второй год. Ни с кем не дружит. Или же с нею никто не дружит. Не почему-либо там, а просто... ну, не знаю даже, как объяснить.

Такая незаметная девочка. Сидит на первой парте. Иногда к ней подсаживают какого-нибудь вертуна с задних мест.

Сейчас-то я понимаю, что Светино положение в классе — нечто чрезвычайное. Казалось бы, как так: второй год человек рядом, а никому нет дела, что за человек, никто, возможно, и не заметит, исчезни он вдруг!

Да так и произошло, когда она заболела. Даже где живет, не знали!

Учится Света нормально: хорошистка. Общественные нагрузки несет исправно.

А вот одевается скромно и даже более чем. Смахивает на интернатскую девочку. Из своих пальто уже выросла явно, туфли самые дешевые, сапоги тоже. В школу носит только форменное платье, не то что наши девчонки — кто во что горазд, лишь бы понаряднее, у многих сережки. Я тоже хожу в форме, мама не позволяет вольностей, но хоть разнообразия воротнички и вот рукава отрезала до локтя.

Я потому так подробно об этом, что оно поимело обширные последствия. Возможно, весь этот «внутренний монолог» раскрутился во мне именно поэтому. С дневником же возиться сейчас немоготу, слишком много всего, все сложно. Пожалуй, в дневнике можно будет потом разве что формулировку записать: дескать, я-то считала, что главное в человеках и в их взаимоотношениях то-то, а оказалось, не то. Или: оказывается, и это может влиять, да как еще! Ну, а в постскрипуме добавить: Игорь не тот человек, за кого я принимала. Увы и ах.

Но до формулировок я покуда не добралась. Муторно мне.

Короче, дело было так. Мы со Светой Волошук в тот день оказались попутчицами: я не домой из школы пошла, а в кафе-мороженое (грешна: сладкоежка!). Нас обогнала Оксана. Света сказала:

— Говорят, у Оксаны дома богатая библиотека?

— Роскошная библиотека! Моя сестра говорит, среди частных — лучшая в городе.

— А ты бывала там?

— Конечно.

— Вот бы и мне... — Света вздохнула.

— Но, знаешь, там книг на руки не дают.

— Никому? И тебе не давали?

— Отец не разрешает. Но дома у них — можно. Если хочешь, свожу тебя.

— Да нет, тогда не надо, только расстроюсь.

— Точно.

Тут я и сон свой рассказала. Будто бы Оксана замуж вышла, в ушах уже по двое серег качаются, а по сему случаю роскошная библиотека ей уже не нужна — приходи кто хочет, бери что хочешь: насовсем! Настолько радостный сон, что проснуться было грустно.

Света вежливо улыбнулась, потом сказала:

— Она и в самом деле рано выйдет замуж. Сразу после школы.

Я удивилась.

— Да погляди, она же вялая! У нее энергии не хватит, разве что родители найдут жениха!

— Почему родители? Ее и так найдут.

Я усомнилась снова: ведь Оксана, мягко говоря, человек не слишком широких запросов. Самое обидное, что та библиотека ей только в обузу: лазать по стеллажам с пылесосом. Вот музыкой — да, увлекается: западная эстрада, кое-какие наши ВИА. Я ей об этом говорила. Ей что угодно скажи — не обижается. Холит себя: спокойная внешне и внутренне, блондинка, полная, вальяжная.

Света добавила:

— Не так уж и важно — внутреннее содержание. Во всяком случае, поначалу. Просто понравится, и все.

— Если не важно, — возразила я, — то за что же мы все друг другу нравимся или не нравимся? Не за внешность же!

И так вот, значит, добрались мы до этой темы.

Я тоже не считаю внешность последним делом во впечатлении, но — предпоследним, скажем так. А по-Светиному, внешность занимает второе место, да и то смотря когда. Иногда, значит, и первое. Но спорить со мной не стала.

— Все равно ты этого не знаешь. Не почувствовала сама, — сказала она. — Я здесь сворачиваю, а ты?

— Подожди.

Я вдруг догадалась, что она не вообще говорит, а, в отличие от меня, конкретно. Мне захотелось ее переубедить!

— А давай проверим,— усмехнулась Света. Такая незнакомая стала, ну, что-то неприятное, нешкольное.

Я согласилась:

— Давай! А как?

— Очень просто. Только поменяемся с тобой одеждой и выйдем вместе погулять.

— Ну уж.

— Что? — Опять усмехнулась.

— Ничего. Но ты одета... в общем-то, нормально.

— В общем-то — да. Так ты против?

— Вовсе нет.

Теперь об Игоре. О том самом, с которым я, по выражению Валерки, «встречаюсь». Из четырнадцатой школы.

Познакомились мы прошлым летом в трудовом лагере. Это километрах в двадцати отсюда, совхоз «Заря». Работали тогда на капусте. Девятые классы.

Жара стояла несусветная. Благо, речка! А вообще, жилось там хорошо: дружно, весело. Разговаривали много, пели песни, танцевали, дурачились (синоним «балдели»). На одном из КВН я и Игорь встретились соперниками: я — капитан своей команды, он — своей. На «заводной» вопрос — «чем отличается иглолка от велосипеда?» — я ответила:

— На ней далеко не уедешь!

Он поправил:

— Наш ответ был: на велосипед садишься и поедешь, на иглолку же садишься и подпрыгнешь.

Ну, это пустяки. Мелкое остроумие. Просто после того КВНа мы и стали встречаться. (В скобках: наша команда тогда победила).

Я, кажется, не скромница — отнюдь, как говорит сестра Аля, и ценю себя не слишком низко. А все же сознавала: Игорь мальчишка особенный, а что я? Самой заурядной внешности, даже конопатая. Ну, ладно, буду брать фигурой. Так говорит Оксана: «Ты возьмешь фигурой».

— Это ты, та девчонка, которая носит портфель на голове? — спросил Игорь после КВН.

— Я.

— Наслышан. Таких больше в городе нет.

— Конечно!

— А зачем, если не секрет?

— Нравится. И руки свободны.

— И фигура что надо, — добавил он улыбаясь. Горянки неспроста носят кувшины на голове.

Все девчонки мне завидовали, а иные хмыкали вслед: такой-де особенный мальчишка — и такая обычная девчонка!

— Ты интереснее всех девчонок, — сказал Игорь. — С тобой можно разговаривать.

Я была счастлива!

В город вернулась совсем другая. Такой резкий перелом в жизни.

Игорь обещал познакомить со своими друзьями и вскоре пригласил к ним. Шла и дрожала: хоть бы не опозориться своей заурядностью! А пришла, увидела и... немножко разочаровалась. Прежде всего сама обстановка: накурено, хоть топор вешай. Зато пластинки крутятся не с каким-нибудь там ВИА, а — с классическим Чайковским! Но разговаривают при этом о чем придется, типа: ты где отхватил такие джинсы? (Джинсы и впрямь «отхваченные»: фирма «Ли Купер»!).

Правда, после обстановка изменилась: модные ВИА с магнитофона, другие разговоры. Я даже успела там понравиться! Наверное, наивностью вторженки — Серафима Михайловна, так говорят? — со своим уставом в их монастырь.

Там обретался некий Витя — высокий парень-допризывник. Проповедовал дикие вещи. Дескать, ненавидит людей, никому и ничему не верит — только своим друзьям. «Бомбу бы на этот городишко!» Слушали его снисходительно. А я не вытерпела:

— Ну, для своих друзей вы, вероятно, приготовите бомбоубежище. А, например, я? За что же мне и моим друзьям такая участь?

Все притихли, любопытно стало. Витя — он стоял, прислонясь к стене, я сидела на стуле меж ним и тахтой, на которой сидели остальные, в том числе Игорь, — Витя обаятельно улыбнулся и ответил так:

— Если вы здесь, с нами, то вам подобные акции не угрожают.

— О, благодарю вас! — Я прочувствованно поклонилась.

Тогда Витя жестко досказал:

— Но для друзей и брата устрою коммунизм!

ВИА не гремели — перерыв был.

Когда мы оба очутились в кухне, куда я выходила попить, а он там курил, я спросила:

— Ты что, дурак?

Он растерялся, покраснел.

— А-нет, я в отпуске.

— А-а. Хорошо, если только в отпуске. Я бы не желала, чтобы такой воин стоял на страже моей страны.

— Да это я так, образно, — оправдывался багровый Витя.

— Ничего себе образы.

Провожая меня, Игорь разубеждал, оправдывал Витин максимализм исключительно суровыми жизненными обстоятельствами: отца нет, мать больна, материальные и всякие иные лишения, какие-то предательства.

— Но теперь он с нами, и мы с ним.

— Кто — мы?

— Ты видела?

— Я видела, вы к нему относитесь чуть ли не нежно, а он, между прочим, старше тебя на три года, и ему будет доверено оружие! Вопрос — кому же?

— Ты обостряешь, Маша. Преувеличиваешь.

— Я надеюсь, — ответила я. — Надеюсь, что и он тоже. Для красного словца. Хотя и весьма странно, что именно на такую тему. Нам хватает и буржуйских агрессоров.

Игорь улыбнулся:

— У всех своя... кочка зрения. Это зависит от обстоятельств.

— Кочки, — улыбнулась и я, — на болотах ведь? Вы хотите из болота на мир смотреть?

Игорь рассмеялся.

— Bravo, Мария! Ты мне все больше и больше нравишься.

Но вот ведь какая вещь: мне уже мало этого — нравиться. Мне хочется, чтобы и самой мне нравилось все, что связано с Игорем, а не только он сам.

Он сам — что сказать? Конечно же, таких я еще не встречала: хочет стать «президен-

том». Смешное слово? Но это за неимением более точного. Да ведь главное — выразить понятие. «Президент» в данном случае есть понятие силы, влияния. Не просто лидер, как выразились бы социологи, шастающие теперь по школам, а чтобы помогать наводить порядок, никого не бояться, пользоваться авторитетом. Занимается в секции самбо, играет на саксе. Красивый, стройный, черные глаза. (Мама, между прочим, актриса.) Учится нормально и без усилий, а с усилием бы учился на «отлично».

Самый ближайший его друг — Саня, тот вообще радикал: книг не читает, не расчесывается. Нет, не хиппи — просто человек природы, тем, как говорится, и интересен. Добрый, главное. А учится хорошо и тоже без усилий.

Все это, согласитесь, заинтриговывает. Действительно: особенные мальчики. Но когда я послушала Витю...

Вот, значит, кто такой Игорь и какая у нас дружба. Кое о чем другом промолчим, ибо лишнее.

Чуть не забыла. Валентин, их старший друг — девятнадцати лет, учится в вечернем институте, рисует, играет на гитаре, поет собственного сочинения песенки, бородат, умен. Отвергает всякую иную дружбу между парнем и девушкой, кроме товарищеской. Тут я тоже недопоняла, хоть мне Игорь и разъяснял.

А разъяснял он так:

— Или — или, понимаешь? Или товарищи, или уже не они. Если отношения, допустим, переросли в любовь.

Я неприятно удивилась:

— Любить и дружить — нельзя?

— Да женщина сама не умеет этого. Объективность в отношениях — достоинство мужское. И свобода.

Я смеялась:

— Ка-а-кие познания! Приходи к нам в класс на диспут, а то скучища!

Очень хотелось с Альбиной поговорить обо всем этом, хотелось, чтобы они познакомились. Но он не захотел.

— Аля мой друг, не просто сестра.

— Я тоже твой друг.

Оксана вздыхала:

— Какая ты счастливая. А тут... всякая шупера липнет. И вообще, скорей бы школу окончить. Вот когда начнется интересная жизнь!

Ну, не понимаю, как это — скучно? По мне, только за угол зайдешь — и все интересно. Из дому в одном настроении выйдешь, вернешься — в другом. На каждом шагу новости!

Или оттого у меня так, что живу тем, что происходит? А Оксана — тем, что произойдет. Лариска — тоже вся в ожиданиях.

Я, конечно, тоже вся в ожиданиях, аж дух порой захватит. Но это не заслоняет же настоящего.

Вот, снова специально задерживаюсь, чтобы отдалить последнее воскресенье: описываю круги.

Все, круг замыкаю.

Переодевались мы у Светы.

— Ты с мамой живешь?

— Да. Она сейчас на дежурстве в больнице.

— Врач? — глупо спросила я.

— Уж наверное, — сказала Света, — по мне видно, что не врач.

Мне стало стыдно.

— Какая разница, кто. Извини.

— Конечно. А все же разница. Моя мама работает медсестрой.

Гордо так сказала.

Квартира у них однокомнатная. Квартира как квартира, даже что-то нестандартное есть в интерьере. Или от подчеркнутой его простоты, без излишеств? Светина кровать в кухне.

Ну, переоделись. Я отдала ей свои сапоги, брюки, свитер, пальто с капюшоном (в серую клетку) — и надела ее одежду. Мы одного размера, но выглядела я теперь жалче самой Светы: тесновато, рукава явно коротки. Хотя, в общем-то, не так чтобы совсем нельзя показаться на люди. Носит же Света! В зеркале вижу незнакомую Машу.

Зато Света — похорошела! Она и без того хороша, теперь же заметная стала, двигалась уверенно.

Когда мы вышли, почувствовала перемены и я!

— Вот видишь, — заметила Света.

Я возражала:

— Но это же естественно: в чужой одежде, хоть в какой, чувствуешь себя неловко.

— А вот я в твоей — ловко! — засмеялась она.

Мы сели в троллейбус и поехали в другой район города, чтобы не попасться на глаза знакомым. Я, как известно, попала все равно — Альбине. Но она сделала вид, что мы незнакомы, опаслась, — так говорят? — смутить, помешать тому, чего еще не знает. Альбина — человек! Гранд-хомини, как сказал бы Валерка.

Итак, день был воскресный, плюс весна. И мы — на так называемой «стометровке», в каждом районе у молодежи есть своя «стометровка». И мы бродим, мы гуляем: независимо — Света, а я то и дело ловлю себя на неполном дыхании, на сведенной спине. Честно делюсь своими ощущениями.

— И это при том, что ты знаешь, — говорит Света, — что через час-другой все переменится и ты это снова ты.

Нет, в своих ощущениях я потом разберусь тщательно, а пока никак не могу скинуть со счетов причину непривычности чужой одежды.

Время клонилось к вечеру, самое молодежное время. Нельзя сказать, чтобы на нас не обращали внимание: новенькие же здесь, кто такие? Но вот по мне взгляды скользили, а останавливались на Свете! И парни с нею заговаривали. Те, кто воспитаннее, спрашивали:

— Девушки, с вами можно познакомиться?

Те, кто менее воспитан, спрашивали:

— Девушка, вы свободны?

У Светы, естественно. Она отвечала твердо:

— Нет, мы не свободны. Мы — ждем.

И мы дождались.

Я издали увидела их — Игоря в компании незнакомых мальчишек. Вот встреча так встреча! Дернула за рукав Свету:

— Постойм.

— Почему?

— Потом объясню.

И будто разглядываем витрину книжного магазина. Нас «заинтересовала» выставленная там литература!

Но я вижу, что та компания тоже приостановилась, двое спорят с Игорем: они хотят подойти к нам, он — против. Я уже не витрину разглядываю, а на него смотрю. Расстояние совсем ничего! Даже слышу, как Игорь сердится: «Ну, зачем? Вы забыли, куда мы идем?» Один отвечает: «Зато какая девочка». (То есть — Света). Те двое подошли все же.

— Девочки, нам не по пути?

— Мы не знаем, — отвечает Света.

— А давайте так сделаем, чтобы по пути. — И тот, кто заговорил, показывает на себя и на приятеля: — Андрей и Александр. А ваши имена?

— Светлана, — отвечает Света.

— Маруся, — отвечаю я громко.

Один из них прыскает в кулак.

— Имя не нравится? — так же громко задираюсь я.

— Мальчики, нам не по пути. Честное слово. — Обаятельная Светина улыбка, и мыдвигаемся от витрины. Мы двигаемся на Игоря в его шикарной импортной куртке на «молниях». Вот его взгляд, недоумение, даже покраснел! Успел отвернуться! Вот они остаются у нас за спиной.

— Давай посидим, — предлагаю я.

За декоративной железной решеткой маленького сквера садимся на холодную мокрую скамью. Прутья голых деревьев. Возле нашей скамьи лужа. Смеркается. Оказывается, я уже промерзла, особенно ноги. Аж колотит.

— Ты кого-то знакомого заметила? — спросила Света.

— Да.

Летом она не была с нами в трудовом лагере, не знает Игоря.

— Слушай, — говорю, — а почему тебе не купить новые пальто и сапоги? Извини, конечно.

— Да нет, ничего. Видишь ли, отца нет, а мамина зарплата... Можно бы на полторы ставки, но у мамы уже болят руки от лекций.

— А давай возьмемся разносить телеграммы по вечерам, а? Ты, я, Лариска. Заработаем тебе на сапоги, а может, и на пальто. Давай!

— А вам-то зачем из-за меня? — Света отвернулась.

— Почему только из-за тебя? Из-за себя тоже. Мы же — рядом.

В общем вопрос этот находится пока в стадии размышления. Главным образом, Светы, а не нас. Правда, Лариска скуksилась, когда на следующий день я ей обо всем — кроме Игоря! — рассказала: ведь одна затеяла нечто, а ее ставлю уже перед фактом.

— Лариска, не дуйся. Все получилось стихийно.

В то же воскресенье, вечером, я, даже не заходя домой — только по телефону предупредила, — отправилась в кино с Олегом Кулаковым. Тоже стихийно. Выхожу от Светы, отогретая, напившаяся чаю, — и, как говорится, нос к носу. Мы восемь лет учились в одном классе, а нынче Кулаковы в другой район переехали, но, главное, Олегову мамашу наша школа чем-то не удовлетворяла. Но дело не в этом — дело в том, что я давно ему нравлюсь.

— Марийка, ходим в кино?

— Сходим.

Не поверил.

— Правда?

И не надо было верить!

В буфете торговали лимонадом, мороженым и конфетами «мишка косолапый». Дефицит!

— Угощаю, — галантно сказал Олег. — Чем?

— Конфетами. Сто лет не ела.

— Сколько?

Что ж, сам напросился.

— Полкило. Если, финансы позволяют.

Ну, получила я полкило. И вульгарно принялась за уничтожение, стараясь не шуршать обертками. Надо было видеть Олегово лицо! Но он — самый скупой человек в нашем классе! — мужественно стерпел финансовые убытки, а также и то, что конфеты уничтожала я с упорством механизма: без надежды на остатки. А ведь — сам сладкоежка!

Но все пожрать я тоже не сумела. Мы вышли из кинотеатра, и Олег молчал, нес легкий кулек.

— Может быть, и остальные возьмешь? — спросил вяло.

— Давай, — согласилась я. — Спасибо, очень вкусно.

Ни на какие больше разговоры силему не достало.

Дома выложила эти остальные перед Альбиной и рассказала, смеясь, как было дело. Она отложила в сторону книгу, долго на меня глядела, потом холодно спрашивает:

— И что, живот у тебя не болит?

— Не-а! — мотаю головой.

— Неужели?

Утром, подавая мне завтрак, снова:

— Так, действительно, живот не болел?

Молчу.

— И тебе хорошо спалось? И кошмары не снились?

— Аля, ну, что особенного? Сам, напросился. Ты забыла, какой он скупой?

— Зато тебе, оказывается, легко быть щедрой за чужой счет. Ты не задумываешься, что все вы куда еще тратите не собственные деньги?

— Да ты бы видела, как он сник, как жалко ему было тех конфет!

— А если он сник по другой причине? Если ему тяжело было увидеть тебя такой, тяжело разочароваться?

Со мной разговаривала не Аля, но Бина! Когда она такая, она — точно, Бина. Так ее называл иногда Горяшин. Аль-бина.

А Горяшина я тоже недавно встретила. Наш бывший друг. Санечкин, называла я его когда-то. Мне кажется, всю жизнь помню его у нас. Даже в школу — в первый раз, в первый класс — меня повела Аля, а с нею и Горяшин. (Папа был в командировке, мама лежала в больнице.) Я настолько привыкла его видеть, что потом, когда он перестал приходить, отвыкать было трудно. А потом и самой уже неприятно было встретиться с ним на улице. Сначала я не понимала, в чем дело, сейчас, кажется, понимаю: наверное, ревновала.

Ведь Санечкин наш был! Нравилось маме или не нравилось, а наш. Но мама помалкивала, и главное преткновение заключалось,

видно, в Але, то есть в той Але, которая Бина.

Но он мог бы и сам что-нибудь предпринять, мужчина или не мужчина? А не предпринимал. Рассорятся, и выскочил бог весть на сколько недель. Потом опять появится.

А потом женился. Вот мне неожиданность была! Аля, конечно, запретила бывать у нас — он не слушался. И правильно делал! Как так не бывать, если всех нас давно к себе приучил?

Но зачем женился? А Аля? В общем, попахивало предательством, хотя никто, конечно, не знал Алиного мнения.

Но ведь если не предательство, то пусть бы оставалось как есть, пусть бы с женой познакомил, как-никак мы — старинные приятели.

Короче, постепенно я солидаризовалась с Алей: нечего ему тут делать. Он меня уже раздражал, жалкий какой-то, несчастливый. Спрашивается, кто ему виноват?

У Али настолько больное сердце (даже оперировали), что детей врачи запретили. Но как будто не бывает бездетных семей! А там, глядишь, вылечили б. Ведь когда рядом дорогой и заботливый человек... Да мало ли что сама Альбина считает, что это не семья — без детей. Мало ли что вообще она может сказать. Где же тогда собственная его чуткость?

Но, как я понимаю, было хуже: такой вопрос в их отношениях не поднимался вовсе: старинные приятели, и точка. У Али своя жизнь, у него своя. Струсил, небось.

Потом, наконец-то, исчез. Может быть, звонил, не знаю. Ах нет, звонил однажды, я сама пригласила Алю к телефону. К ней в тот день заезжал проездом один человек, за которого она как-то отказалась выйти замуж. Вот тогда Саня Горяшин и звонил. Как почувствовал. И вскоре пришел, мама рассказывала — я в школе была — попрощаться: уезжал тоже, насовсем. Это было больше года назад.

А на этой неделе мы повстречались в кафе «Мороженое». Надо же, взрослый мужчина, а по-прежнему любит полакомиться.

— Марийка, ты?

— Я.

— Здравствуй, Марийка.

— Здравствуй. Ты разве не уехал?
— Уехал.
— В отпуске?
— В отпуске.
— А почему ты вздохнул?
— Разве? Наверное, от радости, что встретил тебя и ты со мной разговариваешь.
— От радости тоже вздыхают?
— Бывает. — Он улыбнулся. — А помнишь, мы с тобой частенько сюда наведывались?
— Помню.
— Это хорошо. А то я уже думал, ты совсем...
— Что я?
— Да ведь уже не разговаривала со мной, смотрела враждебно. Хочешь еще мороженого?
— Хочу.
Он обрадовался, поспешил к буфетной стойке за вазочками с пломбиром.
— Ты совсем уже взрослая, — сказал он. — И ни на кого из семьи не похожа.
— Говорят, я похожа на бабушку.
Стояли, ели, брякая ложечками, мороженое, разговаривали. Жалко вдруг его стало. (Олега Кулакова не пожалела, однако.) Может, из-за Али? А может, из-за себя: такое у меня теперь состояние, что со всеми подряд хочется разговаривать — лишь бы не одной оставаться.
— Я провожу тебя? — спросил как попросил Горяшин.
— Проводи.
— Ну, спасибо.
И снова жалко его стало. Взял у меня портфель (я ж из школы сюда).
— Ты где хочь, Санечкин?
— Далеко. В тайге. Красноярский край.
— Строишь?
— Да.
— И семья твоя там?
— Семья моя здесь. Вот, приехал за ней. А она не хочет.
— Кто не хочет?
— Семья. Нет у меня там благоустроенной квартиры.
— Ну, не все же сразу!
— Я тоже так говорю.
— Ну, и как же вы теперь?

— Не знаю.
— Останешься?
— Ох, Марийка, не знаю.
Снова пасмурно, сыро, каша коричневого снега хлюпает под ногами. Мы идем по улице Набережной, мы идем по улице Первого Признания — эту улицу мне подарил Игорь. Сейчас свернем на проспект Победы — на проспект Наших Встреч. Стало быть, обхожу свои владения!
— А как там... все ваши? — спрашивает Горяшин.
Вот люди: спросить бы прямо: «Как там Али!» — так нет же, не умеют.
— Спасибо, все нормально, — отвечаю. — Слушай, Санечкин, ты читал такую сказку — «Маленький принц»? Ее сочинил один французский летчик. Экзюпери.
— Нет, не читал.
— Ее и по радио часто передают.
— И по радио не слышал.
— Жаль. Но, может быть, еще не поздно.
— В каком смысле?
— Вообще. А как ты относишься к Раскольникову?
— К какому?
— Привет! Ты забыл «Преступление и наказание»?!
— А-а. Знаешь, мы Достоевского не проходили в школе. Я, вообще-то, начинал читать, но не осилил.
Говорил виновато: и сказку, значит, не читал, и Раскольникова забыл.
— Но фильм я видел. А что?
— Видишь ли, Раскольников — любимый литературный герой одного моего знакомого. Может ли такой герой быть любимым?
— Но ведь он — убийца?
— Да ведь — ради идеи.
— Все равно.
— В том-то и дело! Да, мы ему сочувствуем, он даже симпатичен, даже — вот странность! — обаятелен, но...
— Тебя это настораживает?
— Что «это»? — Я поворачиваюсь к Горяшину.
— Такое пристрастие в твоём знакомом.
— Да. Ведь он хочет стать сильным, чтобы стать максимально полезным обществу.

Раскольников тоже хотел, но, смотри, куда это завело.

— Марийка, времена-то другие.

— Это только кажется! Другие-то другие, а всегда есть одинаковые запреты и разрешения. Морально — аморально. Я так думаю.

Пошел снег. Вало, нехотя будто. Шипели мокрыми шинами автомобиля. Останавливаемся перед светофором.

— Ты его переубедила?

— Нет.

— А что Раскольников? Он ведь, помнит-ся, раскаялся?

— Раскаялся. Но когда? Он все время знал свою правоту, и только Соня... Помнишь Сонечку Мармеладову? А если бы нет? Какой страшный тогда человек, а?

Мы перебежали шоссе.

— Ты и вправду взрослый человек уже, Марийка. А как поживают... сейчас вспомню... вот: Валера и Олег, верно? По-прежнему подкидывают тебе в портфель записки?

— Помнишь?!— Я удивлена и тронута.

— А как же. Такие рыцари были.

— Да нет, теперь все другое уже.

— Все уже другое,— повторил и он. Помолчал. Потом как бы вернулся откуда-то из себя:— А с кем ты теперь в шашки играешь?

— Не играю уже. Тебе я почему-то не обижалась проигрывать, а другим, особенно Виталию,— не хотела.

Это я чтобы ему приятно стало. И правда: заулыбался.

— Я теперь в бассейн хожу.

— И хорошая пловчиха?

— Да уж не из последних!

А снег все гуще и гуще. Идем уже по моей улице — по улице, переименованной Игорем в улицу Его Радости. Щедрый был... владелец.

— Каникулы. Небось, ждешь не дождешься?

— И не говори, Санечкин! Мы все так устали. Каждый день по шесть уроков, кроме субботы, правда. Но даже в субботу не возвращаюсь домой раньше пяти часов. Смотри: в понедельник факультатив по математике, во вторник — по физике плюс хор, в четверг практика, в пятницу классное собрание. А

еще — писать планы, протоколы, доклады. Еще — комитет, библиотека, бассейн. Уф!

Горяшин сочувственно откликается:

— М-да. Тут повзрослеешь.

— А вон и дом наш.

Беру у него портфель.

— До свиданья, Марийка.

— Угу.

Грустный Санечкин. Оба мы грустные, как эта мокрая погода.

— Санечкин!— Я останавливаюсь и он, уже уходящий, тоже.— А как поступают с предателями, Санечкин?

Он смотрит на меня как-то странно.

— Не понял,— говорит.— Ты о чем?

— Да о том же своим знакомом. Как, по-твоему, наказывают предателей?

— Не знаю, Марийка. Но, по-моему, они себя наказывают сами. Рано или поздно.

И пошел себе обратно, быстрым шагом.

Я вот о чем думаю: чем молчать и маяться годами, лучше уж сразу высказываться обо всем, что на душе. Или теряешь, или приобретаешь — сразу все ясно. Если же у взрослых такое молчание называется деликатностью или как там еще, то не деликатность это, а трусость, вот что. Я, значит, распахнусь, а вдруг ты отвернешься, не примешь? Или: лучше ты первый (первая), лучше выжду. И тлею в своем несчастье, никого не порадовали и себя замучили.

У меня так не будет.

Каникулы!

Не вытерпев, сходила к Лариске.

— Ее нет дома,— как-то очень сухо ответила мать, тетя Люба.— Она ночует у бабушки.

Ладно, подожду ее звонка. Я теперь вообще «телефонная леди»: все время мне называют. Игорь тоже. Позвонил в тот же вечер, да я, ему сказали, еще не вернулась (в кино обжиралась с горя Олеговыми конфетами). И звонит ежевечерне. Прошу наших отвечать, что занята, ежели не желают обманывать, будто нет дома. А сама разговаривала лишь однажды.

— Марийка, ты хоть объяснила бы, в чем дело, я уже весь извелся.

— А мне кажется, не мне объяснять.

— Ты про воскресенье?

— Про него самое.

— Марийка, да я так растерялся! Даже усомнился, если хочешь знать: ты или не ты?

— И даже после того, как я назвалась? Но президенты с Марусями не знают?

Он молчал.

— Извини, я занята. — И положила трубку. Побежала в ванную плакать.

Теперь мои семейные так и отвечают в телефон:

— Маша подойти не хочет, извините.

Голос Игоря они знают, да он и сам вежливый: поздоровавшись первым делом, сообщает свое имя делом вторым и только делом третьим просит пригласить меня.

Позвонил Валерка.

— Так пойдешь со мной?

— Пойду.

Он обрадовался.

— Маш, а какие нынче галстуки носят, не знаешь? По-прежнему двенадцать сантиметров шириной?

— Нет, нет, уже десять.

Я у Валерки — консультант по моде. Вот только стрижется он упорно по-своему: под горшок.

— Как Иванушка.

— Или римский легионер, — поправляет он. Впрочем, наша Аля тоже стрижется так. Но у женщины это уже как у Мирей Матье!

А сама я пошу длинный «хвостик», и на щеки от висков спускаются кудряшки — волосы мои имеют склонность виться. Модно, не модно, а уж как есть. Аля говорит, длинные, хорошие волосы всегда модны. Папа добавляет: а у кого их нет, тот придумывает моды на всякие прически и стрижки. Мама говорит: модно то, что к лицу.

Когда вечером за мной заходит Валерка, наши переглядываются. Ну, ясно, уйду — и стану гадать, что за перемены: опять на горизонте друг детства? Будут ждать моих сообщений, так как самим в душу лезть у нас не принято.

— Аля, я возьму твой перстень?

— Возьми.

На улице ежусь:

— Какая холодная весна.

— Да нет, нормально, — возражает Валерка. — Днем такое солнце насвечивало, ты забыла?

— А что ты несешь?

— Подарок. Я не сказал тебе, мы ведь на день рождения идем.

Я даже приостановилась:

— Ничего так! А я?

— Мы подарим от двоих.

— Как хоть зовут родственника?

— Валентин.

Тут я тихо заподозревала.

— А где живет? Не на Машиностроителей?

— Там. Ты знакома с ним?!

Я притормаживаю:

— Валер, не пойду. Знакома.

— Как?

— Меня водили туда. Еще в прошлом году.

— Ну и что? Теперь я приведу.

А в самом деле: ну и что?

— А кто водил? — спрашивает Валерка.

— Да так... Что хоть мы дарим? Я внесу свою половину.

— Ладно тебе. Свои люди — сочтемся. Дарим мы диск «Абба».

— Ого! Не жалко? Валер, так что, правду создадим в школе свою дискотеку?

— Почему бы нет. Хоть останется после нас что-то.

— Чтобы осталось, надо, во-первых, самим научиться, во-вторых, других научить.

— Еще год с четвертью.

— Ты кем будешь? Диск-жокеем?

— Светооформителем, наверно. Жокеев уже есть, из десятых. Ах да, тебя же тогда не было на комитете.

— Ну. Зуб дергала.

Пришли к Валентину. Там полным-полно гостей. Стол отодвинут к стене, чтобы не мешать танцам. На столе и на подоконнике закуски наставлены, конфеты, яблоки, бутылки с вином. Кажется, форма такого угощения называется а-ля-фуршет? Каждый подходит и сам угощается. Родителей видно не было. С магнитофона пел Мигель Рамоса (запись фир-

мы «Испавокс»). Некоторые танцевали. Валерка отошел к Валентину, а возле меня очутился Игорь.

— Здравствуй, Марийка.

— Здравствуй.

Усмехнулся.

— С кем это ты?

— С другом детства.

Подошел лохматый и веселый Саня.

— Кто друг детства?

— Да вон тот, видишь? — кивнул Игорь. —

С прической под Иванушку.

— Или под римского легионера, — отчеканила я и пошла пробираться к столу за яблоком. На конфеты теперь после тех «мишек» даже глядеть противно.

Но оставаться возле стола было неприлично, пришлось вернуться. Игорь пригласил танцевать — под ансамбль «Тич-Ин». Я промолчала, знай жую свое яблоко. Веселый Саня покинул нас, Валерка не возвращался, только изредка взглядывал с другого конца комнаты.

— Мариша, выйдем поговорить?

Молчу. А самой поговорить не терпится, сколько уже всякого про себя сказала ему и спросила! Но вот — молчу. Собственно, он все уже сказал, а я лучше все равно уже себя не почувствую.

— Кеч ми иф ю кен, — сказал он по-английски. То есть: пойми меня, если можешь?

— Не могу, — ответила я.

— Извинить не можешь? Не верю.

— Зато я верю собственным глазам, — ответила я. И пошла за вторым яблоком, а оттуда пробралась к Валерке.

— Ты почему привел меня сюда и бросил? Давай танцевать.

— Мне не хочется.

— Тогда что нам здесь делать?

Но Валентин протягивает мне руку.

— Мариечка? — И мы идем танцевать.

Мое тело подчинено ритму, но в ритме живу, как хочу: вот она я, а я — такая и такая! Хотите посмотреть? Пожалуйста! Главное, я свободна, не ежусь в уголочке, не ожидаю... королевских — или как их? президентских? — милостей от судьбы. Я и сама, если захочу,

судьбой чьей-то стану. Громче, громче, быстрее! Бородатый Валентин, держись, всех перепляшем!..

Названиваю Лариске, а ее нет, так и живет у бабушки. Надо будет разыскать: явно случилось что-то. Но пока жду все же, как она и велела.

А погода такая, что выходить никуда не хочется. Погода на стороне домашних заданий: вот и подзаймитесь, товарищи школьники, сочинением по «Войне и миру».

Альбина говорит:

— А мне ближе был Пьер Безухов.

— И совсем равнодушна к Андрею Болконскому?!

— О, нет. — Улыбается. — Князь Андрей это князь Андрей. Но я сказала: ближе Пьер Безухов. Понятнее.

— Аль, а где это мы недавно читали, что Вячеслав Тихонов после роли Болконского хотел уйти из кино, так был раздосадован своей игрой?

Мы беседуем — обожаю беседы! — время идет, а сочинение не пишется.

Звонит Лебедева. По делу. Центральное ТВ как раз показывает в эти дни премьеру многосерийного фильма «И это все о нем» по роману Виля Липатова.

— Староста, как смотришь на то, чтобы обсудить фильм в классе?

— Комсорг, мое мнение совпадает с твоим.

— А как тебе песни? Я под впечатлением.

— Я тоже.

Вот, даже в каникулы наш комсорг на посту.

Со стороны покажется, будто к Лебедевой я отношусь иронично. Но это уже по характеру, что ли. По истине же если, отношусь с уважением. Еще бы: Лебедева человек ясных позиций, знает, чего хочет и что надо, притом вовсе не сухарь. Из нее, не сомневаюсь, выйдет настоящий общественный деятель.

Вот я, к примеру, еще не знаю, что выйдет из меня, даже цели пока никакой нет. И это беспокоит. Наверное, инфантильная: держусь за школу, радуюсь, что впереди еще целый год.

Может, придумаю что, найду, как говориться, себя. Хотя и сомневаюсь: ничего не попробовав, не испытав в деле, как можно найти? А увлекалась я многим.

Альбина призывает не огорчаться: всему свое время. В крайнем случае, утешает папа, можно будет поработать в Альбининой библиотеке, я уже многое там знаю и умею. Мама более строга: ежели акселераты, пора бы уже и цели иметь.

А наша Лебедева — счастливый человек. Оттого-то, может, и иронизирую, что завидую.

Между прочим, Лебедева обещала нам встречу с делегатом Восемнадцатого съезда ВЛКСМ, который скоро состоится. Делегат — десятиклассница из семнадцатой школы! И Лебедева с нею заранее уже познакомилась и договорилась о встрече с нами — поделиться потом впечатлениями.

Не пишется сочинение! Кроме того, мне после каникул докладывать о международном положении: ответственная за политический сектор. А международное положение — это же, как выражается приятель Альбининой подруги Нasti, голова циркулем. Украден гроб с прахом Чарли Чаплина! Американцы не желают отказываться от своей нейтронной бомбы. Китай по-прежнему сходит с ума...

А нашим мальчишкам через два года в армию.

Игорь сегодня не звонит.

Зато объявилась, наконец, Лариска.

— Я к тебе ночевать, можно?

— Спрашиваешь! Я сама к твоей бабушке уже собралась.

Иду к маме.

— Пусть ночует, конечно. А дома она предупредила?

— Ну, наверное.

Но дома она не предупредила: там думают, что она у бабушки.

У меня своя комната, которую я очень люблю. И у Альбины своя, но смежная с моей. А третья комната — мамы-папы и общая, с телевизором.

Что в моей комнате? Ну, письменный стол, конечно, две книжные полки над ним: учеб-

ники и мои детские книги, плюс собрание сочинений Гайдара, избранное Александра Грина, Лермонтова и Маршака. Постоянно прикупаю поэтические сборники современных поэтов — Юлии Друниной, например.

Дальше. Сплю на деревянной кровати. Ярko-красный ковер на стене и синтетический зеленый на полу. Кремовые шторы. Платяной, в стене, шкаф. Стены время от времени меняют свою экспозицию — развешиваю портреты и репродукции. Сейчас висят портреты киноартистов Олега Видова и Марины Нееловой, а также сфотанный Валеркой наш старый-старый кот Гоша — пасть в зевке. А также цветное фото из старого «Курьера ЮНЕСКО» — два лощеных листа разворотом: ночной небоскрежный Нью-Йорк — сплошные огни, миллион огней! Даже не как фотография воспринимается, а как картина — в манере импрессионистов. Мне нравится.

С оконного карниза свешивается на капроновой нитке черная обезьянка — подарок Игоря.

— Я не видела ее, — говорит Лариска. Она ведь и разглядывала сейчас мою комнату, как будто впервые здесь. Долго, молча. А я — тоже. Не начинаю, пока сама не начнет.

— Что по телевизору сегодня?

И тут мама в дверь стучится:

— Девочки, ужинать.

Лариска мотает головой.

— Мам, а можно нам здесь поужинать?

Перетаскиваю ужин сюда.

И вот, оказывается, какие новости. Ужас в квадрате. Ужас в кубе! Даже не знаю, что посоветовать Лариске. Даже не представляю, что сама бы на ее месте делала! Хотя не представляю также и чтобы такое произошло в нашей семье: невозможно!

Значит, так. Все дело в сметане, из-за нее весь ужас. Сметана, надо сказать, отменная, про такую говорят: хоть ножом режь. Вся стряпня в Ларискиной кухне на сметане. Даже мясо тетя Люба жарит на сметане. Лариска говорила, из деревни привозят. Хорошо иметь своих людей в деревне!

Деревенская женщина приходила всегда вечером, затемно. И буквально на минуту. Лариска еще спрашивала у матери, отчего же

не пригласить тетеньку отдохнуть, поесть, все ж таки с дороги и в дорогу. Та отвечала, что электричка ходит в таком плотном графике, что расслаживаться некогда. Лариска предлагала самим тогда встречать молочницу на вокзале, а то неудобно. Тетя Люба отвечала, что за все платятся деньги.

Сметаны всякий раз привозилось много — три трехлитровые банки.

И вот молочница привозит эти банки в неуличный вечер: родителей дома нет. Досадует:

— Надо же, мамки нету. А может, ты рассчитаешься? Мне уезжать завтра, срочная путевка. Не приду месяц.

— Конечно! — Лариска знает, где лежат деньги. — А сколько?

— Как всегда.

— А я не знаю, сколько.

— Десятка.

— За все?! — поражается Лариска.

Итого, значит, десять рублей. Всего лишь! Пока Лариска мыла банки на обмен, молочница сидела там же, в кухне. Лариска торопилась.

— Извините, вам же на электричку, я сейчас.

— Да я завтра еду, — сказала молочница. — А живу рядом, на Кирова.

Короче, устроила Лариска по родительском возвращении дознание с пристрастием. Но и сразу мать, узнав о молочнице, явно растерялась. А Лариску, естественно, интересовало, зачем ее обманывали и почему столь высококачественная сметана обходится им по рублю килограмм, тогда как магазинная стоит рубль сорок, а погуще — рубль семьдесят?

— Знаешь, я не хотела дознаваться. Как чувствовала, что узнаю страшное. Сама боюсь, а остановиться уже не могу.

Дальше. Отец отмалчивался, а мать — тоже с перепугу, видно, — стала кричать: дескать, не Ларискино дело, тем более, что все делается ради их же, детей, блага: «Вкусно-то поесть вы любите!» А вкусно-то ели, оказывается, пользуясь ворованным на молокозаводе. Там, значит, берут бесплатно, а здесь тот риск оплачивается.

— Лора, а может, и не так вовсе? Ты же не знаешь. Тетя Люба могла из одной лишь

обиды за твои дикие подозрения не объяснять тебе ничего.

— Да уж объяснила! Машка, так противно жить стало, знала бы ты. Ну, как мне теперь? Бабушка прогоняет. Эта их солидарность! Папа молчит. Да будь я не права, он не молчал бы.

Вот такое. И еще не все. На следующий день (когда Лариска не пошла в школу) тетя Люба ее ударила! Вовка — ему семь лет — у них большой любитель сметаны, ест ложками: благо в избытке. И вот Лариска входит в кухню, видит братца с этой самой ложкой: «Не смей есть, это не наше!» — и тут же схлопатывает пощечину от матери.

— Ой, Лариска-а... — И сказать мне больше нечего. Мне ли горевать о своем по сравнению с Ларискиной бедой!

Но все равно рассказываю. Может, хоть немножко, хоть на минуту отвлечу.

— Ой, Машка-а... — говорит она.

Не спать нам теперь, до утра прошепчемся. Между прочим, Игорь позвонил. Наверное, в последний раз. Я ответила развесело-весело:

— А-а, это ты. Приветик, приветик.

Он помолчал, потом говорит:

— Позвольте мне усмехнуться.

— Позволяю! А по какому случаю?

— А по случаю этого цирка: тогда и сейчас.

— Цирка? — обрадовалась я. — Точно! — И стишок Маршака остроумно процитировала:

Веселые сны!
Дешевые цены!
Полные сборы!
Огромный успех!
Кресло — полтинник,
Ложи — дороже,
Выход обратно —
Бесплатно для всех!

Он брякнул трубку на рычаги. Меня колотило, как в ознобе, зуб на зуб не попадал.

Вот погодка. Сыплется и сыплется снег. С антрактами, правда. словно небесная свалка над городом, словно бы все окрестные снеговые тучи ветер стянул сюда и опрастывает на нас из пухлых наволочек.

Беспрерывно думаю то о своем, то о Ларискином. Как мне теперь быть с тетей Любой — здороваться? Или сказать что? Хотя бы не встретишься! Ой, какое несчастье.

Мама-папа на работе, а мне скоро в бассейн. Аля сделала из апельсиновых корок цукаты, ем — и не лакомо. А из бассейна приду прямо к Альбининому обеду. У нее сегодня выходной, и занята она кухней — решила нас побаловать.

Вообще она у нас главный человек в семье. Правда. Может, потому, что всю жизнь боимся за нее, за ее больное сердце. Но, несомненно, и потому, что наша Аля такая.

Какая? Не знаю. Ну, человек. Как Валерка говорит, гранд-хомини.

— Аля, а что, свиньи в апельсинах не разбираются?

Она — в фартучке, в кружевной косынке — оборачивается ко мне от плиты.

— Не понимаю.

— Да это я так. Сегодня на мусоре...

— У мусоровоза, — поправляет сестра. — Кстати, что тебе не спится по утрам? Изнемогали от усталости, а не отсыпаетесь, когда можно. Ну, так что?

— Слышала сегодня это выражение: разбираешься, как свинья в апельсинах. Ем цукаты и, по ассоциации, вспомнила. Две тельняшки ссорились. Одна, как я поняла, в апельсинах разбирается, а другая нет.

Хочу поговорить на одну важную тему, да не соберусь с духом. Издалека подбираюсь.

— Я Горяшина видела, — говорю. — Он в отпуск приехал. Мороженым меня угощал. Я забыла тебе рассказать сразу.

Аля уже не оборачивается, но, спокойно так, спрашивает:

— Как он выглядит?

— Одет роскошно, весь меховой. Но очень худой лицом.

Вот и все. Отсюда к моей теме мостка не перекинуть. А, без мостков.

— Аля, как ты думаешь, есть все же любовь или ее придумали?

— Вот так на. А твое мнение?

— Я колеблюсь.

— Сейчас. — Аля торопливо закладывает в кастрюлю куски мяса, моет и вытирает руки.

И тоже присаживается к столу здесь же, в кухне.

— Но когда любят, прощают ведь?

— Смотря что.

— Андрей Болконский не простил Наташу. Мальчишки на уроке кричали: «И правильно!» Правильно? Значит, не любил? А Наташа? Зачем Анатолий Курагин? Тоже не любила Болконского? А считается, что они любили друг друга. Мы хотели поговорить об этом на уроке, но Фифа...

— Серафима Михайловна.

— ... не поощряет неделовых разговоров. Я думаю, просто опасается упустить поводья. Аля слушает.

— Простить, не простить... Маша, наверное, нельзя любой случай свести к единому для всех знаменателю. Всякий раз у всех по-своему. И счастливы по-разному, и несчастливы.

— Да, я знаю. А ты... счастливый человек?

Она улыбнулась.

— Но ты ведь вообще спрашиваешь?

— Да.

Об этом я спросила, чтобы узнать, как же уравнивается вся Алина жизнь в собственном ее восприятии. Или что-то перевесит? Если перевесит, тогда она несчастна, а ведь есть чему перевесить!

— Маша, счастливы, вероятно, все люди. Одним тем уже, что живы, дышат, видят мир, могут разговаривать друг с другом. А попытка познать себя в деле? Знаешь ли, это все немалого стоит.

— Так, с вообще понятно. А если в частности?

— Ну, во всяком случае, не несчастная же я, как ты думаешь?

Я засмеялась:

— Конечно. Но, — и мне вздохнулось, совсем нечаянно, — почему вдруг я стала несчастливой? Я не могу сейчас рассказать тебе всего, а одна неприятность даже и не мой секрет...

— Ларисин?

— Как ты догадалась? Ну да, она же такая вся... Ладно. И все же.

— Это временно. Потом изменится. Поначалу всегда что-то чем-то заслоняется.

— В любом случае?

Аля помолчала, глядела в пасмурное окно.

— Пожалуй, так, в любом.

— И даже если поверишь человеку, а он потом обманет?

— Да.

— Не понимаю. А если я сама стану тогда обманывать? Поэтому вот.

— Но, Маша, в итоге-то ты поймешь, рано или поздно, что обманула ты — себя. Чаше это случается поздно.

Я вспомнила, что сказал Горяшин в ответ на мой вопрос о предателях: похоже!

— Аля, что — основное?

— Ох, — она опять улыбнулась, — ты бы так и хотела войти в жизнь с уже готовыми ответами? Так не бывает. Я, допустим, скажу, а ты не поверишь.

— Тебе — поверю.

— Нет. Все равно перепроверять станешь. И непременно что-то в твоей жизни не вложится в мою формулу. Да ее и нет, формулы. Живи, радуйся, огорчайся, плачь — ищи сама.

— Неужели же нет основного? Ты бы тогда не сказала так.

— Есть, конечно. То есть мы с тобой прямоехонько вышли к вопросу всех вопросов — о смысле жизни, так?

— Так. И я уже... ну, до этого... знала, в чем смысл.

— В чем?

— В любви. К своим родным, к Родине, к книгам, вообще к людям. Недаром же и пишут, и поют, и подвиги совершают, даже дерутся — все так или иначе ради этого, основного. Правда, я не слишком чувствую «вообще к людям», но если это не так впрямую, а? Например, все мы кого-то своих любим, да?

Аля кивнула.

— А все друг с другом, шире и шире, связаны, так? Мои друзья имеют своих родных и любимых, те — своих, и так далее. Получается, все связаны. Вроде родственников. Вот в таком смысле я чувствую это самое «к людям».

— Маш-ка, — сказала Аля, — ты умница, Машка.

Я почувствовала, что краснею, но засмеялась.

— На том стоим.

— На том и стой.

— Аля, но ведь вот что! Надо же знать, за что любить! Ну, родных — ладно, тут голос крови, хотя есть, конечно, и другие мотивы. Есть ведь?

— Есть.

— Так. А — посторонних? Или даже родных тоже. Которые... ну, совсем не grand-хომини, скажем так. Вот где запинка! Все знают, что хорошо, что плохо, — и все равно бывают всякими. И все равно каждого кто-нибудь да любит. Так вот — за что? И предателей, значит? И воров?

— Маша, а если я запрошу пощады? Согласись, такие разговоры слишком серьезные, чтобы вестись экспромтом.

— Но ты уже двадцать девять лет живешь! Ведь тоже думала об этом?

— Думала. Только с высоты этих моих двадцати девяти многое иначе видится, чем с высоты твоих пятнадцати.

— Ну и что!

— Тогда... — Аля машинально разглаживает ладонями голубую клеенку на нашем обеденном столе в нашей белой просторной кухне. Наверно, чтобы не рассредоточиваться.

— Тогда скажу тебе вот что. Однажды я вдруг поняла: когда любят за что-то, это не любовь.

— Как! — Я готова спорить.

— Погоди, Маша. Да, не любовь, а эгоизм: от себя — для себя. И быстро проходит, так как непременно подразумевается поначалу сглаживание недостатков любимого человека и преувеличение его достоинств: резко субъективное, в общем, отношение.

Я удивилась, опять не стерпев:

— Это плохо?

Альбина вскидывает глаза:

— Но в таком случае в конце концов все проявляется: и недостатки, конечно, есть, и достоинства-то потусклее, и так далее. Понижаешь?

— Это если не любишь!

— Нет: если живешь. И тогда эгоизм вопиет: обманули, караул! Была-де другая, а

стала вот такая. И наоборот. Понимаешь? А никто не обманывал — сам обманулся. Так бывает чаще. И так не бывает, когда действительно любишь. Ни за что. Ибо спервоначалу принят целиком, со всеми достоинствами и недостатками. С известным и неизвестным. С любим. Тогда — не проходит.

Я обалдеваю.

— Аля, мне кажется, я тебя поняла! Но тогда не пойму, как же мы... Нет, сейчас не сформулирую точно.

— То-то же.

— Я приду из бассейна, мы договорим, ладно?

— Непременно. Ну, а о преступниках разговор особый. Хотя в этих же рамках.

— Ой, опаздываю!

Я подхватываюсь и бегу одеваться, хватаю приготовленную с вечера сумку с купальником, шапочкой и полотенцем. Скатываюсь по лестницам. Когда Валерка тоже ходил в секцию по плаванию, я не опаздывала никогда: точно в срок напомнит из таксофона на углу нашего дома. Но он скоро забросил это дело, а почему, не объясняет. Говорит, в бассейн ходит, но уже «дикарем» — у него кто-то свой там работает, пропуск вольный.

г. Юрга

Я бегу и мои монологи бегут со мною вместе, точнее — во мне. Хотя и с некоторым отставанием, вперевивку.

Бегу — и как споткнулась: мысль. Я-то спорить собралась с Алей, воевать даже, а у самой как?! Вот Игорь явно же за что-то выбрал меня, поэтому и постеснялся, когда внешность моя изменилась. Внешность, но не я же! И, с другой стороны, я: знаю, что не за что, в таком-то случае, переживать, но как больно!

Меня толкнули, я опомнилась, стою пенек посреди тротуара. Побежала дальше.

Ну, нет, все это еще обдумать надо хорошенько. Разобраться. Это хрюшкам безразлично, что лопать, а мы стоим в очереди за апельсинами.

Бегу мимо телеграфа. Мы тут были на днях со Светой. Не взяли нас. Во-первых, должны позволить родители; во-вторых, не в школьное время. Ничего, летом это дело мы все равно пробьем.

Вот и наш спорткомплекс. Ой, кто там на крыльце?

Игорь на крыльце!..



„ВЫПОРХНУЛА ПТИЦА...“

Иван Мордовин

ДЕТСТВО

В золотых чешуйках речка,
Задремал у леса дом.
Солнце — рыжая овечка —
Скачет в небе голубом.

Поиграл бы с ним охотно,
Но оно кричит: «Спешу!...»
Что ж, из детства беззаботно
Я в ответ рукой машу.

И поскрипывал устало
Ветхий дедовский плетень,
Там, где бабочка порхала
И казался длинным день.

* * *

Я доброте учился у природы
И чувствую волнение ветвей.
Мне горло перехватывали воды
Из родника на родине моей.

Меня пьянят калина и крушина.
И в доме, что стоит среди села,
На вырост мне рубахи бабка шила,
Чтоб в них душа просторная росла.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Теряют лепестки алые маки,
мой палисад после дождя
свеж,
И желтоголовые мальчишки
гоняют мяч на мокрой поляне,
и вышел старик
на них поглядеть.
Деревянные руки его
продолжаются в посох...
Резво ли бегают внук?
На земле обновленной
лепестки полыхают
и радуга в небе
невозмутимо прекрасна.

Владимир Петраш

БРИГАДИР

Он улыбается, но грусть в его глазах,
Как ни скрывай, а старость — это старость,
Не так уж много жить ему осталось,
А нынче с ним такое что-то стало —
Он улыбается, но грусть в его глазах.

Седые бригадировы виски,
Они всегда казались мне седыми,
Они всегда как утренние дымы,
Как будто и не знал я молодыми
Седые бригадировы виски.

На ленточке огромная медаль,
Ее точил Валерка Лихоносов,
Он говорил: «Коль заслужил, пусть носит»,
И вот сейчас отсвечивает бронзой
На ленточке огромная медаль.

На пенсию уходит человек,
Какая все-таки безжалостная дата!
Но если и ко мне придет она когда-то,
Пусть скажут так и обо мне ребята:
«На пенсию уходит человек».

г. Новокузнецк

Леонид Торгаев

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ

Травы трутся о колена,
Вяжут шаг, как невода,
Из дурманящего плена
Мне не деться никуда.

Солнцем залита опушка,
Отовсюду свет да цвет...
Вдохновенно врет кукушка,
Что мне жить премного лет.

Я не верю ей, понятно —
Дескать, каждому свое,
Хоть послушать и приятно
Мелодичное вранье...

Гуд осинный, храп лосинный —
То левее, то правей,
В мураве застрял с лесиной
Работяга муравей.

СЫН

Трудно женщина живет
В центре «замкнутого круга...»
Безотцовщиной зовет
Ее сына вся округа.

В жизни вот не повезло —
И в глазах сквозит тревога,
Но упрямо, всем назло,
Подрастает сын Серега.

Ясноглаз, пригож с лица,
Честно кашу уминает...
О предательстве отца
Он пока еще не знает.

Непричастный к той беде,
Что так больно сердце ранит,
Спросит: «Мам, а папка где?» —
И в глаза с надеждой глянет.

И нельзя не понимать
Горечь фразы этой краткой...
Сына поцелует мать
И слезу смахнет украдкой.

И притихнет он у ног,
Будто что-то раскумекав...
«Поскорей расти, сынок,
Будь хорошим человеком!..»

г. Белово

Алексей Куликов

* * *

Выпорхнула птица из ветвей —
рвется слово из груди моей.
Выпорхнула птица из ветвей —

не поет, а в кроне пелось ей.
Может так и с песнею моей?
Выпорхнула птица из ветвей.

Афанасий Гуковский

ПЕРВЫЙ БОЙ

Погожим летним утром сорок второго года над прифронтовым, не обжитым еще толком аэродромом появились вдруг два самолета. Они точно из-под земли вынырнули, с ревом пронеслись над посадочной полосой, взвихрив высокую траву.

— Немцы! — спохватился Макар Александрович, механик, грузноватый мужчина лет сорока; он кинулся к трактору, стоявшему поодаль в тени деревьев. За механиком поспешили все, кто был на аэродроме.

Прихрамывая, подошел командир звена старший лейтенант Михаил Кауров. Новенькая форма, перетянутая ремнями, ладно сидела на его стройной фигуре; ему двадцать третий год, но он уже второй год на фронте, за штурвалом истребителя. Каурова считают асом, на его счету не один сбитый вражеский самолет.

— Что тут за шум был? — быстрым взглядом окинул он поле аэродрома. — Я полагал, что наши с задания уже вернулись.

Полчаса тому назад ЯКи ушли на задание. На аэродроме дежурила пара И-16, старых, тихоходных истребителей с мелкокалиберным вооружением.

— Так, эт самое, фашисты! — в глазах механика промелькнули одновременно недоумение, испуг и радость, что так вот благополучно обошлось. — Не знали, что наш аэродром тут...

— Обнаглели, сволочи! Издеваются! — процедил сквозь зубы Кауров. — В следующий заход они... — Посмотрел на небо, вздохнул: — Скорость у наших маловата, а то бы мы показали им...

Возбужденные гневом глаза Михаила Каурова встретились со взглядом его ведомого младшего лейтенанта Пети Гусакова: ну как?..

Петр Гусаков широко заулыбался, быстро и радостно закивал головой. Ему едва стукнуло девятнадцать лет; невысокий, узкий в плечах выглядит он и того моложе; еще мальчишечье проглядывало в нем что-то: непокорно вздернут кончик носа в крапинках веснушек, светло-серые озорные глаза. Петя недавно со школьной скамьи, в боях не участвовал еще: то дежурил на аэродроме, то патрульную службу нес. А ему так хотелось настоящего, большого дела. И он, не раздумывая, готов был провести свой первый воздушный бой при любых обстоятельствах. Но старший лейтенант заколебался, укосился на своего старенького «Ишака»: выдюжит ли? К тому же командира отряда вызвали в авиаполк, а за самодеятельность могут и выпать... Да и ранение ноги сказывалось еще: Михаил Кауров недавно из госпиталя, потому-то и оставили его, как говорится, на подхвате, дежурить на аэродроме. «А Петя? Неопытный, необстрелянный еще птенец!.. — Кауров усмехнулся. — Но всякий птенец не станет птицей, если не научится летать...» И вдруг решительно махнул рукой:

— Ладно, Петя, попробуем!..

— Да не торопись ты, Миша, на свои похороны, — предостерегающе сказал механик. — Они, похороны, без тебя не обойдутся. Эт все едино, что с рогаткой на медведя идти.

Но где там! Если он, старший лейтенант Кауров, решил, то уж никто и ничто не остановит его.

Фашисты не стали ждать, когда наши самолеты наберут высоту, незамедлительно ринулись в бой. Их ведущий, непрерывно агитируя, пытался призвать Каурова к земле и расправиться с ним. Но старший лейтенант уходил из-под огня, упорно набирал высоту: то свечой взмывал вверх, выжимая из своего «Ишачка» последние соки, то камнем падал. Однако же пикировать старался поменьше. Там, в небе, можно свободно маневрировать; если не скоростью, так хитростью взять фашиста.

Гитлеровец, видать, разгадал маневр советского летчика, пытался увести его за линию фронта, заманить подальше в свой тыл. В азарте боя Кауров, должно быть, не замечал этой уловки немца, а возможно упрямое самолюбие не позволяло Михаилу повернуть обратно.

Тем временем над лесом пронеслись еще два «мессера», набирая высоту.

Разница в скоростях самолетов мешала и русскому, и немецкому летчикам вести прицельный огонь: у одного траектории пули запаздывали, у другого — опережали цель.

Заметив подкрепление, ведущий фашистский летчик, все больше наглевая, ринулся на самолет Каурова, как коршун на добычу, замигали огоньки у ствола немецкого пулемета. Старший лейтенант нажал педаль, самолет его «рухнул», и немец промахнулся, на бешеной скорости проскочил вперед.

«Вот так, вшивый крестonosец!» — заулыбался Михаил Кауров, пристраиваясь противнику в хвост. Он жал на полную железку. «Ну еще, еще поднажми, братишка!» — умолял он своего «Ишачка».

Летчик ведомого «мессера», обеспокоенный промашкой своего командира, спешил на помощь. Ему не составляло большого труда настигнуть самолет Каурова и с хвоста расправиться с ним. Вот он поравнялся с самолетом Пети Гусакова. За промытым стеклом кабины «мессера» увидел Гусаков убитое, розовошее лицо немца. Фашист ослабился, приложил к голове два растопыренных пальца: дескать, козлик ты несмысленный... Не успел Гусаков и сообразить, как увидел вдруг

светлячки вражеских пуль перед самым пропеллером своего самолета.

В ярости нажал Петя на гашетку. Красные шарики его трассе наискосок прошли фюзеляж вражеского самолета почти от самой кабины до хвоста. «Мессер» густо задымил, пошел к земле штопором.

«Знай наших, паразит! — Петя хохотнул. — Русские козлики тоже бодаются, будь здоров...» Гусаков был наверху блаженства. Еще бы! Первый бой и первый сбитый фашистский самолет.

В ушах Пети вдруг грохнуло, самолет швырнуло, опрокинуло навзничь. От хвоста потянулся черный жирный шлейф дыма. Гусаков попытался выровнять самолет, но не тут-то было — заклинило штурвал.

Самолет безнадежно падал. «Врезал, сволочь, на полную катушку! — Гусаков чертыхнулся, злясь больше на самого себя. — А я-то, идиот, обрадовался успеху, расхорохорился, как петух на чужом подворье. — У Пети даже дыхание перехватило. — Точно, козел несмысленный! Не зря немец показывал рожки».

Гусаков заметил, что летит он на запад, все больше удаляясь во вражеский тыл, и не на шутку встревожился. И так и эдак тискал он штурвал, но... безнадежное дело. «Прыгать!..» — мелькнула мысль. В летной школе Петя Гусаков держал первое место по прыжкам с парашютом. Но вспомнил вдруг про НЗ. Справа от летчика в небольшой нише кабины хранится дюралевая коробочка с непрекосновенным запасом: плитка шоколада, галеты, папиросы. «Не оставлять же добро. Когда еще доберусь до своих?..»

Сунул коробочку под мышку, отстегнул ремни, вывалился из кабины. Потянулся было рукой к кольцу, чтобы открыть парашют, но тут же сообразил: в воздухе носятся три «мессера», они запросто могут подстрелить Гусакова или прошить пулями парашют. И еще успел подумать Петя: «А какво там старшему лейтенанту Михаилу Каурову?..»

Близко к земле — метров двести-триста — Гусаков раскрыл парашют; купол его миглом наполнился воздухом и так дернулся, что Петя выронил коробочку с НЗ.

Приземлился младший лейтенант на небольшой поляне. Он знал, что гитлеровцы непременно станут искать советского летчика. Так нет же! Отстегнув ремни парашюта, Петя заметался по поляне, искал коробочку с ИЗ. Бежал, все увеличивая круги от места приземления, вглядываясь под ноги. Останавливался, наклоняясь разгребал высокую траву и снова бежал. Далась же ему эта коробочка!..

Слух Гусакова уловил отдаленный лай собак. «Деревня где-то недалеко...» — почему-то обрадовался Петя. Но вдруг вспомнил, где он находится, остановился как вкопанный, напряженно прислушиваясь.

Разъяренный гвалт псов приближался. «Ищут, паразиты!..» Петя нырнул в лес, побежал, что было духу. Взглянул на солнце, Гусаков понял, что драпает на запад, все дальше удаляясь от своих. А что он мог? Псиная свора приближалась, наседала на пятки.

Спустился в глубокий овраг. Ручей! Петя остановился, дрожа весь от усталости и тревоги, рукавом гимнастерки смахнул едкий пот с лица. Ага! По воде собаки не берут следов.

Вода в ручье текла на северо-восток. «Значит, по оврагу можно выйти к Десне. А там, за рекой, наши», — прикидывал Гусаков. Но он думал, что фашисты тоже не дураки, что они догадываются: русский летчик непременно будет уходить к своим. А как же иначе?.. Немцы, стало быть, ринутся вниз по оврагу. И Гусаков побежал вверх по ручью. Спотыкался о камни, о корни, падал и снова вскакивал. «Если он, Петя Гусаков, обхитрит фашистов, потом уже вернется тем же следом. А если нет?..» Но об этом, самом страшном, Пете не хотелось думать.

Вдруг лай собак оборвался. «У ручья уже свора! Потеряли следы...» Но через какую-то минуту снова поднялся гвалт псов, однако уже не такой яростный, не такой уверенный, вроде бы потише. Потом еще и еще тише. «Ага! Потопали вниз по оврагу. Обставил, обставил гадов!..» Петя готов был плясать от радости. Но он едва держался на ногах, колени дрожали. По-стариковски опустился Петя на бережок ручья, некоторое время сидел, уронив голову. Сквозь кожу сапог вода приятно хо-

лодила натруженные разгоряченные ноги. Саднило левую щеку у самого уха. Провел Петя ладонью — кровь. Он и не заметил, когда оцарапал лицо. «До свадьбы заживет...» Пригоршней зачерпнул воды, умылся, отпил несколько глотков. Прислушался.

В лесу тихо-тихо. Как в мирное время. Почти рядом скрипел коростель, усердно молотил носом по стволу дерева работага дятел. На вершину березы, под которой сидел Петя, взгромоздилась вездесущая сорока, отвратительно затрещала: «Докаж-жу, докаж-жу!..» Петя поднял голову: «Предательница!» — и погрозил ей кулаком. «Врешь, врешь!» — протрещала белобока и улетела.

Где-то на востоке едва слышно ухало: бабах!.. Выстрел-взрыв. Петя горестно вздохнул: «Далеко же меня загнали, паразиты!..»

Спустилось оранжевое солнце, будто потонуло в лесной чащобе. Низинами поползли липкие сумерки, потянуло прохладным ветерком; залопотали листья на березах, на тополях. Лицо Пети оживилось. «Шуми, шуми, послушное ветрило!..» Под шумок леса пробираться к своим безопаснее будет.

Утром следующего дня вернулся Петя Гусаков на свой аэродром. Озираясь по сторонам, незаметно хотел он прошмыгнуть в палатку, привести себя в порядок, переодеться, а уж потом к начальству явиться.

Макар Александрович бежал трусцой (это его обычная походка), спешил куда-то по своим делам. Взглянул мельком на приближающегося странного человека в рваной грязной одежде, без головного убора. Круто повернул, сдерживая свою прыть, и пошел медленно, близоруко приглядываясь к незнакомцу.

— Пе-етя! Чертов ты сы-ын!..

Механик схватил Гусакова за плечи, то прижимал к своей широкой груди, то отстранял на вытянутые руки, радостно, взволнованно лепетал:

— Жив, дорогой, жив! Вот хорошо-то! А я... а мы тут... Как же оно получилось?..

— Получилось хуже некуда, Макар Александрович. — Петя опустил виновато глаза. — Подбили...

— Слышал, Петя, слышал. Но и ты в долгу не остался. Молодец! Так их, нечистей!

— А как мой командир?— в свою очередь спросил Гусаков, вглядываясь в глаза механика.— Вернулся старший лейтенант Кауров?

— Миша Кауров?— переспросил механик таким тоном, будто ему задали глупый вопрос.— А что с ним станется, с Кауровым-то? Такие и в огне не горят, и в воде не тонут...

И будто спохватившись, Макар Александрович оглянулся в одну сторону, в другую, заговорил уже тише, словно боялся, что его смогут подслушать:

— Прикатили уже из полка и, эт самое, еще откуда-то... Там,— механик кивнул в сторону, где была замаскирована штабная палатка,— там счас песочат Мишу Каурова: и за его самодеятельность снимают стружку, и за «желторотого птенца» — так величают тебя высокие начальники. Чего доброго, в трибунал упекарут старшего лейтенанта. Закон войны!..

Механик энергично подтолкнул Петю Гусакова:

— Беги в штаб, Петя! Может, твое появление как-то развеет черные тучи над головой Миши Каурова.

Младший лейтенант Гусаков замялся, смущенно оглядывая себя: в таком-то виде предстать перед грозным начальством?..

— Будешь тут еще наводить собачий лоск!..— механик насунил мохнатые брови.— Это тебе, молодой человек, не летное училище...

Обозленный, Макар Александрович побежал по своим делам, но остановился и, повернув голову, миролюбиво уже, просительно крикнул:

— Беги в штаб, Петя, беги...

— Даже не предполагал я, что так может обернуться,— подавленно бубнил Петя Гусаков, едва поспевая за старшим лейтенантом.— Они же, фашисты, начисто обнаглели, паразиты!

— Вот именно — «начисто»!— без иронии поддакнул Михаил Кауров.— Не сдержался я.

Нервишки начали сдавать, что ли?— Скосил глаза на Петю Гусакова.— И тебя втравил...

— Да я не о том.— Петя мотнул головой через плечо в сторону штабной палатки.— Уж больно строго они...

— А-а?— старший лейтенант сбавил ход.— Тут нельзя иначе, Петя. Во всем должен быть порядок, дисциплина железная должна быть! Усвоил?..

Старший лейтенант не унывал, хотя на душе ох, как мутно было. Десять суток строгого ареста! Ему, Михаилу Каурову?.. Но он прекрасно понимал: не вернулся бы Петя Гусаков, могло быть и хуже...

Сбоку глянул на своего спутника, покрутил головой.

— Видок, брат, у тебя...— и засмеялся.

— Понимаешь, линию фронта пришлось по-пластунски. С километр, должно быть, царапался. Кинут фашисты ракеты,— Петя даже рукой показал на небо,— там ракета, там... Вроде бы сами подсказывали: тут можно прошмыгнуть, а сюда не суй носа... И кажется, совсем близко — вот они, ракеты! А шпаришь, шпаришь...

— Откровенно говоря, плаваю я не ахти,— признался Кауров.— И если бы довелось мне перебраться через такую реку, как Десна...

Петя задиристо хмыкнул.

— Тоже мне, река! В сравнении с нашей Обью ваша Десна, что ручей.

— Ишь ты!— удивился и позавидовал Кауров. Но, видно, спохватился, рассудительно пояснил:— Вот именно — наша Десна, русская река. А моя, если хочешь знать,— Кубань. Слышал про такую реку?

Петя утвердительно кивнул: слышал.

— Я видел, как ты пуганул немца. Он, подлец, заходил мне с хвоста.— Кауров, скупой на похвалы, а тут легонько толкнул пальцем Гусакова в бок.— Молодец, Петя, выручил.— И уже с грустью добавил:— И как задымила твоя машина, видел. Но на меня надели три «мессера»...

— А я-то развесил свои лопухи,— виновато бубнил Гусаков.— Обрадовался успеху. Ну и врезали мне...

После короткой, мучительной паузы Гуса-

ков нерешительно спросил, заглядывая в глаза старшему лейтенанту:

— Теперь, поди, не возьмешь меня... своим ведомым не возьмешь?

— Это почему же? — искренне удивился Кауров. Как младшего брата, обнял Петю за плечи. — За битого — двух небитых дают... А тебе повезло вчера: первый бой — и «мессер» у твоих ног. Такое, братишка, не каждому новичку улыбается...

— А я считаю, плохо это! — задиристо возразил вдруг Петя.

— Что? — не понял Кауров.

— Отдавать самолет за самолет — слишком накладно будет, не по-хозяйски. Согласен?

Старший лейтенант внимательно посмотрел на Петю Гусакова и с удовлетворением подумал: «Ты гляди! Совсем, казалось, был мальчишка, птенец, а теперь?..» А вслух заметил:

— Ты прав, Петя! Но, к сожалению, не всегда получается так, как хотелось бы...

Окрыленный поддержкой старшего товарища, Петя осмелел:

— Понимаешь, я даже свой НЗ прихватил, когда прыгал. Думал, пригодится... Голод не тетка, правда?

— Что? Какой НЗ?.. Какая тетка?.. — Кауров даже приостановился. — Ах да, НЗ...

— Да видишь, — Петя развел руками, — потерял. Когда приземлялся — выронил. Искать пробовал, да тут собаки... Еле ноги уволок.

— Когда теряют голову, Петя, по волосам не плачут. Усвоил? — не то в шутку, не то всерьез напомнил Кауров.

У палатки старшего лейтенанта остановились. Кауров положил руку на плечо Пети Гусакова, улыбнулся:

— И как бы там ни было, дорогой, а твой первый воздушный бой, думаю, запомнится тебе надолго. — Помолчав, раздумчиво добавил: — У каждого хранится в памяти свой первый бой...

Раиса Шершнева

РЫЖАЯ ЛЮСЯ

Над Красноводском палит, не давая пощады, июльское солнце. Асфальт раскален. Ни воды, ни зеленого кустика. А бурлящий перрон уже не вмещает людского потока.

С мешками и чемоданами пробиваются женщины к поездам. Измученные дети тащат узлы и чайники. Одна только Люся прикована к месту.

Босая (опухшие ноги не выносили обуви), в цветастой косынке, не скрывающей рыжих, неуместно красивых волос, она держит тощего младенца, с тоской прислушиваясь к нытью шестилетней дочки.

— Пи...ть хочу, мам, пи...ть, пи...ть...

— Ну, потерпи, Лена, как подвезут цистерну, так и пойдем

— Как пойдем? Ну как?! — закричала вдруг девочка. — Будем с Витькой пробиваться через толпу? Зачем здесь Витька? Тебе

говорила тетя Клава, что Витька лишний ребенок, не нужен, раз война!

— Тише! Как стыдно! — мать пригнулась и стала шептать: — А хлеб без очереди — забыла? На танкер пропустили — забыла? Что же нам делать? Не кормить его, как предлагала Клава? Стыдно, Лена! Все же терпят!

— Но я пить хочу, понимаешь, пи...ть, — и залилась слезами.

Одной рукой мать шарит в мешке. Должны же завалиться яблочки-дички. Давились этой кислятиной три дня, пока не добрались до Чира. Нашла. Девочка жадно вгрызается в кислицу. Личико дочери желтое. От этого у Люси тоска.

Прижатые к стене, они стоят на верхней площадке у входа в вокзал. Отсюда видны поезда. У всех вагонов давка и крики.

«Клавдия — пусть, бездетная, злая, — тер-

зает себя Люся. — Но как же добрая Верочка, подруга, могла шепнуть про иллюминатор? И теперь не забыть, не выбить из памяти той маслянистой воды за бортом катерка». Люся незаметно прижимает к себе ребенка.

А Витька, сын, желанный, загаданный, между тем безмятежно спал, держа во рту немую соску-рожок. Спал и спасал их опять: прямо к ним, раздвигая толпу рывками, пробивалась женщина, заметная, как боевой командир. Кофта враспашку, косынка сползала, но руки гребли и гребли прямо к ней.

— Швыдче пишли, швыдче, — отдавала она команду. Ухватив мешок, потянула за собой Лёну и — назад, работая плечами, как рычагами.

— Люди добри, пустить, бо поезд щас тронеца, с дитьмы пустить, — приговаривала она, тараном пробиваясь вперед.

— Ишь, яка моторна! Сорвалась, каланча! У всех дети! — неслись голоса.

Сгибая плечи, рукой защищая ребенка, Люся протискивалась следом. Вот-вот придвигают, отрежут. Но толпа не смыкалась. Их даже проталкивали вперед, как у причала в Махачкале. Кто-то сзади дернул за волосы и подтолкнул. Наконец — платформа.

Женщина-командир швырнула мешок в окно вагона, девочку посадила и, бросившись к ступенькам, втиснулась с Люсей в переполненный тамбур. И поезд дернул, будто только и поджидал этих последних пассажиров.

Какая-то женщина в пропыленной шляпке подтянула чемодан, освобождая местечко. Люся сразу увидела на столиках стаканы и кружки с мутновато-желтой водой, и Лёночка, захлебываясь, уже припала к стеклянной банке.

Прижавшись к стене, мать тихо заплакала: поистине мир, в котором она родила не ко времени свое дитя, был все же полон добра и милосердия.

Женщину-командира зовут тетя Фрося. Вся она крупная, крепкая, (грудь — подушкой под серой кофтой), ловкая и подвижная, хотя ей далеко за сорок. Неожиданно певучим голосом рассказывает она в соседнем купе:

— Як побачила через викно цю молодку, та высмотрила такэ малесенько дитятко, ну, думаю, зараз збигаю, та заберем з собою.

Чудом рассовав свои вещи, она усадила Люсю рядом с полуслепой старухой Никифоровной, Лёну не отпускала от себя, а Витьку сразу завертела в мощных ладонях, обмывая из чайника. «Косточки хрустнут», — пугалась Лёночка, но мальчик только кряхтел, поблескивая глазенками.

— На, годуй свое щасте! — протягивала она Люсе завернутого ребенка. — И на що вин тобі здався, бидолага ты нещастна!

— Почему несчастная? Даже очень счастливая, — жалко улыбнулась Люся и стала кормить сына.

— Ну, Люся, слухай. Ты по аттестату чи як получать на детей будышь?

— Никак получать не буду.

— Чого ж так? — допытывалась добрая женщина. — А дэ ж батько?

— Умер.

— Як умер? Погиб на фронте? — широкие брови, все лицо выражало изумление, будто в войну нельзя было умереть обычно.

Люся молчала, укладывая Витьку. Она боялась, как обнаженного провода, коснуться больного места.

— Папа умер в больнице, от туберкулеза, — пояснила девочка, — и мы не могли его похоронить.

— Ой, лышенько! Бидны вы мои сироты!

— Почему сироты? — Люся даже вскинула рыжую голову. — Какие же сироты, если рядом мать! Буду работать, я же учительница, Ефросинья Яковлевна. Другим еще хуже пришлось!

— Цэ вирно, Люся. А чем дитей годуваты будешь? До школы ще мисяця два.

Люся устала. Повалиться бы на краешек полки, уснуть бы...

— А мама картошку копала тете Клавье, — выручила девочку, — за семь ведер — нам ведро. И я выбирала картошку. Целый мешок заработали.

— Ничего, Ефросинья Яковлевна, в крайнем случае — продам кольцо. — Люся протянула набрякшую руку. Грубая, в ранних

складках рука словно принадлежала не этой женщине с нежным лицом и тонкой шейкой. Въевшись в толстый палец, чуждо блестело золотое обручальное кольцо.

— А цэ що такэ?— удивленно приглядывалась тетя Фрося.

Поперек ладони, опоясывая кисть, шел сизый след — как от ожога.

— Это маму лошадь та-щила,— заторопилась Лена.— Наша кляча упала, а тетя Клава заставила маму найти другую лошадь, иначе Витьку выкинет...

— А у мене два сыночка на фронте,— вздыхает тетя Фрося,— два гарних хлопця, та чоловік як ушел, так и не чуть.— Она рассказывает о женщинах, едущих в поезде. Все работницы сахарного завода:— 3-под самой Умани. Працюваты будемо на своем заводе в Киргизии, а у каждой жинки чоловік, або сын на війне.

— А у нас тоже дядя Миша за Родину сражается!— гордо заявляет Лена.

...Медленно тащится поезд, пропуская другие эшелоны. Когда проходят санитарные поезда, женщины кидаются к окнам, тоскуя, провожают глазами белые лица, белые ноги...

Тетя Фрося трясется, ладонью прикрывая лицо.

— Будя, будя, Прися,— заворочалась Никифоровна,— даст бог, возвращаются твои сыночки.

Люсе нечем утешить, слова не идут. Ее вдруг поразила страшная мысль: Витька вырастет, и опять будет война. Она представила на миг выросшего сына в смертельном огне, и лицом уткнулась в колени тети Фроси.

На каком-то разъезде состав стоит долго. Из вагонов повывсыпал люд, вдыхая прохладный воздух.

Люся стоит у окна. Какая-то девушка в голубом платочке быстро идет вдоль вагона и вдруг, бросившись к окну, торопливо вталкивает в окно посылку.

— Прошу вас, прошу, передайте по адресу,— взволнованно просит она,— в Ташкенте у знакомых, кажется, остановилась мать... и сестра; пожалуйста!..

— Вы что!— вскрикнула Люся.— Не могу, не могу! У меня двое детей!— Она старалась

передвинуть посылку назад, за раму.— И почему мне? Все едут до Ташкента.

— Вы же учительница. Мне сказали. Я тоже работаю в школе... пожалуйста, восемнадцать километров пешком шла... письма не доходят.

— Нет, нет, извините, мне не под силу! У меня же грудной ребенок!

— Ничего не знаем друг о друге,— продолжала она со слезами,— пожалуйста, возьмите... ни одного письма с начала войны,— упрашивала девушка, стоя с поднятыми точно в мольбе руками.— Прошу, вас, прошу... ни одного письма.— Ее глаза так умоляли, будто от этой посылки зависела жизнь, и Люся колебалась. И вслед уходящему поезду надрывающийся голос кричал: «Передайте, пожалуйста, передайте...»

— И на що тобі возитися з передачами,— отчитывала ее тетя Фрося,— чи своей обузы мало?

Зато Лена обрадовалась: «Там прянички стучат. Это нам?» Мать раздраженно задвинула ящик: «Чужая. Ясно?»

Девочка глянула голодными упрекающими глазами.

Мать отломилла немного хлеба и отлила девочке полстакана сладковатой воды. Ехали тяжело. Три дня тетя Фрося делила с ними провизию, а сегодня хлеб и сахар принесла от соседей.

— Сорок тысяч овец без приплода, представляете?— звенел чей-то новый голос в соседнем купе.— Овечье масло — не ели? Очень вкусное и нежное, и, видно, заметив голодные лица, быстро добавляет:— Все только фронту! Целые бочки грузим — брынзу, мясо, шерсть. А каракуль, каракульча — это золото!

Женщина в круглых роговых очках, в зеленом жакетике, прижимая портфель, говорила громко, как на трибуне. И в эту вагонную тяготу, в тревогу от фронтовых сводок, от неустroенности вносила бодрую и сильную ноту. Она директор школы-семилетки в овцеводческом совхозе, эвакуировалась с тремя детьми. «Каждый ребенок у нас получает по пол-литра молока...» У Люси дрогнуло сердце.

— А знаете, как у нас подписывались на

заем?— она оторвала от портфелика руки и жестами стала подкреплять картину.— Растелили на главном дворе совхоза огромную белую кошму. По четырем сторонам уселись старые чабаны в стеганых халатах, в войлочных шляпах и распивают горячий чай из красивых пиал. Так они от жары спасаются. А наш начальник политотдела, поверьте, три минуты, не больше, говорил.— Директорша воодушевилась и продолжала:— Как стали все чабаны кидать на кошму деньги — пачками, целыми пачками,— мы, учителя, едва успевали записывать. Никто не пересчитывал — верили на слово, только фамилию и сумму. Целую гору накидали! И все точно сошлось! Вот люди!

— Ну, женщины, не унывайте. Все устроится, будете работать, а Ташкент — город хлебный,— улыбнулась она Люсе,— ну, мне скоро сходить.— Она побежала к тамбуру. И всем почему-то стало легче.

На четвертые сутки прибыли в Ташкент. Тетя Фрося сразу отыскала прохладное место у стены, уложила на узлах Никифоровну и с большой кастрюлей «побигла за супом».

Ах, этот горячий суп с макаронами на вокзале Ташкента! С лавровым листом, с ароматом баранины! Все приободрились.

— Куды?— спрашивает тетя Фрося, увидя, как Люся надевает обувь.

— Я быстренько,— отдохнувшие ноги скользнули в туфли,— отнесу посылку, а Ленокка пусть здесь побудет...

— Ну куды ты пидешь дитя морыть?— возмутилась тетя Фрося, но, встретив твердый взгляд Люси, смирилась.— Ладно, тикай, та швыдше, бо мене ніколы с вами возжаться.

После томительных дней в душном вагоне идти было легко и отрадно. Она шла по красивой улице, вдыхая воздух такого счастливого, не досягаемого для врага, своего «радянского» города.

— Мичуринская?— с сожалением посмотрел на Люсю прохожий.— Это не близко, и трамваи туда не ходят. Могу помочь до останки.

— Ничего, я сама, спасибо.

Она бодро проходила квартал за кварталом, но идти постепенно становилось трудней.

Ящик сползал, натирая спину. Витька вертелся. И чем дальше шла, тем становилось тяжелее ноша.

Это был мучительный двухчасовой путь по незнакомому городу.

«Какая глупость! Тащиться через весь город, мучить Витьку. Где же эта Мичуринская?»— Она бросила ящик на тротуар. Ее охватило раздражение против той девчонки, что навязала ей свою заботу. Сейчас она разобьет посылку, все переложит в сетку, и назад. Но Люся вспомнила, как бежала за поездом девушка и, надрываясь, кричала: «Передайте, передайте!» Сбросив туфли, поплелась дальше. Ей сказали, что Мичуринская начинается за серыми домами, и она тащилась и тащилась, а серые дома не приближались. Витька завертелся, заорал, проявляя характер. Присев у забора, сунула ему грудь. Потом опять пошла...

Люся уже не поднимала, а волочила по земле ненавистную посылку. Через каждые пятьдесят-сто шагов она останавливалась и наконец села у какого-то забора.

Из соседней калитки вышел вдруг кряжистый человек с узкими глазами. Кругом ни души. Она чего-то испугалась, видя, как узбек, похожий на Чингиз-хана, подходил все ближе и ближе. Омертвев от страха, женщина глянула в узкие глаза и вдруг увидела чудо: человек протягивал ей два крупных, насыщенных соком яблока.

— Кушай, кушай, кароши яблуки, и дитю давай,— и ушел.

Она грызла хрустящую мякоть, капала в детский ротик живительный сок и знала, что донесет посылку.

Мичуринская оказалась за углом, но шли только первые номера, а нужен номер 53. «Ничего, ничего, все равно донесу»,— шептала Люся, отсчитывая длинные, как версты, глинобитные заборы. Наконец, шатаясь, вошла во двор дома и босой потрескавшейся пяткой стала стучать в дверь изо всех сил.

Ей быстро открыла полуседающая, интеллигентного вида женщина, и Люсе стало неловко от своего раздраженного стука.

— Извините... Васильева здесь живет? Я от Лиды...

Что поднялось в этом доме! Из всех дверей выходили соседи, бабушки с детьми. Ее окружили, расспрашивали... плакали, выкупали Витьку.

— Вы видели мою Лидочку? Совсем недавно?— и глаза, полные благодарности, заглядывали Люсе в лицо.

— Очень милая ваша дочь. Тревожится о вас, о сестре...— мать впитывала каждое слово, и Люся придумывала что-то от себя.— Работает в хорошей школе, но далеко от железной дороги... зато спокойней... она была в голубом платочке, пешком шла восемнадцать километров, чтобы передать весточку, ведь письма не доходят...

В посылке действительно оказались прянички и кружок колбасы и еще что-то, но главное было — письмо! Такого бурного счастья Люся не ожидала увидеть. «Как хорошо, что я согласилась взять посылку», — заражаясь чужой радостью, думала она.

г. Юрга

Ее проводили к далекой автобусной остановке, надарили гостинцев, и, воскресшая, Люся летела на вокзал.

А там горько плакала Леночка, ожидая мать. Бросилась навстречу.

— Я же знала, что меня никогда не брошишь, никогда, никогда!..

Зато Ефросинья Яковлевна сидела туча-тучей. Вот-вот разразится гром! Но Люся, разложив колбасу и прянички, стала оживленно и весело рассказывать, как тащила посылку, как испугалась «Чингиз-хана с узкими глазами», а когда она вытащила из-за разухи спрятанное яблоко, тетя Фрося улыбнулась. Потом она умилялась, слезы текли по щекам, слушая, как радовались люди, получив родную посылку.

А впереди лежала тяжелая дорога, по которой, сгибая плечи и возвышаясь духом, шли тысячи женщин этой войны.



БАБУШКА АПРОСЯ

Р а с с к а з

Если откровенно, на бабушку она не похожа. Женского в ней — самая малость. И та спрятана под одеждой. «Мужик-горлодер», — так бы я сказал о ней. Люди же прозвали деликатней: Губернатор. В том есть правда. Голос ее грохочет под окнами с утра до ночи — вроде как инспектируются войска на плацу.

— Волк для чо нужен? Кто скажет? Да чтоб в лесу не дремали, — слышу, хотя и форточки закрыты наглухо. — Американец для чо нужен? Ну, тугодумы? Чтоб люд иной не дремал. А во мне и волк, и американец спрятаны. Я коростой изойду, если вас, кур сонных, гонять перестану.

Бабенки молчат. Ну-ка, кудахни! Кудахни на свою шею! Коль выступает Губернатор, крепись да слушай. И улыбайся: вроде тебе интересно и весело. Нравится, одним словом.

Сколько она, владыка улицы, дней испортила — не счесть. Сам я ей пока ни слова не сказал, но глаза, наверно, говорили. Оттого мы не перебариваем друг друга. Если встречаемся — чаще всего в подъезде, — она, трезвая, проходит молча. Но я-то вижу, чего ей стоит это. От напряжения каждая жилка скрипит, словно новый хром. И я, признаться, не медлю: приятного мало, если эта бабушка хватит вдруг по шее. Когда встречается пьяной (а выпить она не прочь), грозно топает и повелевает:

— Не осуждай! Молод.

Мысленно провожая ее, видя еще — во взгляде есть своего рода инерция, что ли? —

как намертво берется за поручень, как мотает ее, точно ветлу в непогоду, я думаю: не мужиком же она родилась! Была ли когда женщиной?

Однако о себе Губернатор не распространяется, может, потому и рассказать о ней толком некому.

Так и маялись. Да не год, не два. Во время одной из шумных баталий, в которой она, как всегда, была агрессивной стороной, я не сдержался и позвонил в милицию: приезжайте, говорю, на бабулю тут гляньте — одна против десятка бой ведет, штрафником, что ли, ее отметили бы.

Увезли Губернатора. Из милиции вернулась уже в сумерках. Стучится и заходит ко мне.

— Профессор кислых щей!

— Что тебе? — спрашиваю. Ее глаза — карающий огонь. Но слова не идут с языка.

— Профессор кислых щей!

— Иди домой, Святогор-богатырь. Успокойся.

Она хлопает дверью — внутри, по живому, эхо бежит. А через час-полтора Губернатор снова стучится. Молча следует мимо меня в комнату, садится с тяжким вздохом на диван и говорит:

— Ну вас всех! Завязываю!..

Я гляжу на непростенную гостью и поражаюсь переменам: видок помятый — не беда. Глаза. Недавно еще полные огня, наводимые на цель, как сдвоенные стволы ружья, теперь обожжены, в них видится медвежья тоска.

— Душе тесно! — слышу новое. — Так тесно, плакать хочется. Да слез не дано. Кругом притворство, притворство... Крысы за ангелов себя выдают. Им в норе б жить, они ж: лак, зеркала подай! Обругай — обиды, обиды, в бочку не впишаешь. Жиреем, а, профессор кислых щей?

— Это безделье кричит...

— Не смей осуждать! Я проработала — ого-го!

И руки — ладонями вверх — к лицу тянет: погляди, мол. Широкие, крючковатые, в узлах, шрамах руки. Перед такими руками становится стыдно: как же им досталось! Где?

— Нас, сорок девок, в войну на лесозаготовку поставили. Шахта крепь требовалась, хромали шахты. А мужика нет. Техники подавно. Коня единого не нашлось. Да что б он, конь, сделал там?! А мы управлялись! У кого душа дохла, у кого кишка лопалась — девка она и есть девка. Разве для такой упряжки создана? Пополняли, как на фронте. Я оказалась жилистой. То орденом, то похвалой подзадоривали. Да и сердцем понимала: рвись, Фроська, а беду общую нужно одолеть. Кто ты? По отношению ко всему-то горю? Слеза малая. После и война кончилась, а нужда-то... отечественная нужда держала на поводу: потерпи немножко, Фроська...

Вздохнула, помолчала, глядя перед собой рассеянно:

— А лес-то и по сей день снится. Высокий да ладный. И хожу я, терзаюся: валить, не валить? Покончились беды. Вся в жалости. С чего бы? Плакать бы: не в лес ли обезьяной стала? Но не о себе тужиться.

Усмехнулась горько, вроде подытоживая разговор:

— Вот осталась память, — и достает из кармана байкового халата награды. Вижу тут ордена — Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». И глазам не верю. Она же, видя мое замешательство, говорит: — Не сумлевайся. И бумаги храню.

— Да почему не носишь?!

— Для кого? Я одна, как перст.

— Хотя б мы, соседи, посмотрели.

— Ну да. Посмотрите и скажите: за чо дуру наградили? — Поймала мою улыбку — и

точно гвоздь вогнала: — То-то и оно! Не совсем потерянная.

Сунула награды в карман — они сбрыкали, как ложки. И мне стало опять неприятно: что-то не так с ней... Костим! А иначе, по-человечески, нельзя? В долгу ведь перед ней! В долгу!

— Может, верно, профессор: после такой работы и бешусь от безделья. Непривычно. А чем занять себя? Ты мне, бабушке Апросе, дай-ка хоть книжку полюбовней. Моя-то любовь засохла, на чужую погляжу. Да было б убийство — не то засну, не одолею. Читчик-то аховый.

Дал я ей «Преступление и наказание». Думаю, все тут есть для тебя: и кубатура, и любовь, и преступление, и накал. Взяла бабушка Апроса книжку, повертела так, сяк и ушла. Да пропала. С неделю — тишина, глушь могильная во дворе. Что воробы, что детский смех после такого граммофона?! Дом заскучал: куда делась владычица? Сходились на одном: знать, посадили на пятнадцать суток за дебош.

Но вот, слышу, словно включили репродуктор:

— Спросите, бабы: куда меня черт носил?

— Да куда? — говорят. — Улицы, никак, мела.

— Курицы сонные! На суде горе чужо сердцем своим врачевала. Подружку мою — скупердяйку, правда, неслыханную! — студентик зарубил. Топором! И обобрал, сукин сын. Да не смог совладать с совестью. Признался...

— Признался? Сам?

— Сам. Пришел и покаялся: не достало духу через кровь перешагнуть. Народу ж... Народу! Девку любил. А она — Сонечкой звать, по фамилии Мармеладова — с шестнадцати лет распутством занялась. Отец — пьянчуга, мачеха чахоточная. Девка-то и содержала семью. На деньги за распутство!

— Беда. Молодежь какая, а? Что бы на работу-то пойти? Телеграммы разносить, письма — не надсадилась бы и молода. А вечером учись!

— Мы, родители, тоже хороши. Чего кривиться? При теперешней жизни на блуд дочку толкнуть... Это не человек — какой-то кир-

пич! И мачеха, говоришь, чахоточна? И что из того? У меня деверь туберкулезом болел, его по два-три месяца в санаториях держали. Пока не излечили. Больничные получал. Что-то не так, не поняла ты основу.

— Так, умница! Так! Не возражай. Сам себе до нитки пропивал — и сказ полный. А мачеха — бабенка тепличная, к работе неспособная. То-то и жизнь каторга!

Слушал я — и уши мои вяли. Начиталась бабушка Апрося! Услышь ее враки автор, да он перевернулся бы в гробу. Чтоб сплетничали о литературных героях — такого не придумаешь. Дам я после этого ей книгу! Пусть попросит еще!

Но как-то само собою спросилось: ты же заикался о долге? Исполняй теперь! И завертелось в мыслях: что делать? Воспитывать ее, задубелую, как школьницу? Станет она слушать? жди! Кто ты для нее? Профессор кислых щей! И тем все сказано.

Никогда, кажется, я не был в таком затруднительном положении. Серьезного разговора с ней, как и предполагал, не получилось.

— Не дашь книг? Ты чо злобишься? Не забижай, профессор кислых щей! Я теперечь не пью, не шумлю. Токо и читать! Эка беда, кур дурачу! Мне даж занятно: жизнь в тайге провела, в руках-то амбарные книжки одни держала. Для отчетов которы. Теперь же в душе спрашиваю: а вы, дуры городские? Чо в головах ваших? Окромя лака да зеркал? Болотный мох? Нет, профессор, занятно мне! Я еще лесных дятлов позову: обстучите-ка их, птихи! Можеть, и мха нет? А? Можеть, одна перхоть натрусилась?

Книги теперь брала сама. Читала день и ночь. Крепкое здоровье — и не то выдерживала! Хотя бы на глаза пожаловалась раз. Нет!словно семечки щелкала. И каждая книжка была для нее кладезем: кто кого обнял, кто кого совратил, убил, обобрал, кто с кем не сошелся характером. Черпала все это и угощала окружающих. Я запирался в комнате, окна которой выходили на противоположную сторону двора: не мог вынести и минуты. И людям-то, которых дурачила, не раз под-

сказывал: чего слушаете, она же ахиною несет?

— Ну, не говорите! — слышал в ответ. — У нее вести точные. Чего б ради ей врать?

— Не пора ли прекратить игру? — спросил однажды, когда бабушка Апрося пришла за очередной книжкой.

— Не пора, профессор, — отвечала. — Дятлы еще не прилетели. Нет дятлов.

Как-то вечером возвращаюсь из читального зала — она уже поджидает. Вроде опять помаятая, вроде и голос приглушен. Возвращает книгу и говорит опечаленно:

— Новеньки появились, — не видел? Баба — сушенка. А сам... не одолела! Приемами взял. Не прознала раньше — физкультуре детей учит.

— Впросак, значит, попала?

— Попала, профессор, — вздыхает.

— С чего ж в бой-то без разведки двинулась?

— Грамотны. Обругали лгуньей. Книжки, мол, перевираю. И захотелось погонять, испытать... ум есть, а как поджилки?

— Заслуженная женщина, а ведешь себя прескверно.

— Верно, верно, профессор! Ругай крепче. Я выпила и поревела: неладная жизнь идет! Неладная! В раздевалку, что ль, пойти? Смогу пальто подать? При деле буду, при людях. Занятая!

А мне припомнилась такая сцена. Мой сыннишка притопал и говорит ей: «Баба Ап, завяжи». Сам на тапок показывает. «Ох, петушок мой!» — обрадовалась она. Наверно, впервые за всю-то жизнь малыш обратился за помощью. Растроганная, давай она завязывать. А не получается, хоть тресни. Пальцы грубые, шнурок короткий, шелковый — выскальзывает, не дается. Вспотела «баба Ап», раскраснелась, поглядывает на меня: помоги. А я вроде не замечаю. Завязывала она завязывала, вздыхала, вздыхала, но одолела-таки. Улыбнулась приятно, чмокнула пацана в щечку: «Играй, петушок ласковый». А после — опять же заметил — выйдет на улицу и оглядит детскую площадку. Все чужие, а моего карапуза отметит, погладит, спросит: «Не заби-

жают, петушок ласковый? Кто забидит, ска-
зывай — я тому уши, собаке, оторву!»

Так у нее появился друг.

Я говорю ей сейчас:

— Не удержишься ты в раздевалке. К
детям тянись. В няни к кому-нибудь.

Она даже вскинулась:

— Смеешься, профессор!? Я кто? Тягло я!
С бревнами дело имела. Сама я... бревно
бревном!

— Ложку-то держишь? Не роняешь? Часы
вот на руке — сама заводишь? Пружину не
рвешь? Вот и все остальное, если захочешь,
не порвешь, не сломаешь. Одна беда...

— Боишься, обижу? Отлуплю, коль что, и
папу, и маму?

— Да нет. Другое волнует: уважения са-
мой к себе нет. Ты ведь женщина. Попробуй,
приберись, оденься...

— Кого мне радовать? Перед кем выхо-
рашиваться?

— Себя порадуй. Разве можно жить без
собственного достоинства? Вот и беда твоя от
того, Ефросинья Павловна.

Она прослезилась неожиданно, удивив ме-
ня: сердце-то живое, оказывается, и недалеко
спрятано.

— Пять лет имя-отчества не слышала. Все
кликчами, как собаку, зовут. Оттого и кусать-
ся хочется. Да больней, без разбору. Чтоб
знали собаку, помнили...

— Мой товарищ-однокашник давно няню
ищет. Прибирайся — и пойдем. Условия — не
царские. Трое детей, хилые, сама по справке
сидит. А на одну зарплату, ясно, несладко
приходится.

Она глядит растерянно: и верит и не верит.
Похоже, деньги ее не интересуют.

— Профессор...

— Иди, иди. Соберись, говорю, по-чело-
вечески.

— Да как она соберется? — вступает в
разговор жена. — Несите, бабуля, свои наря-
ды. Сейчас подберем, подошьем, укоротим, —
и пойдет дело.

Верно, через полчаса дело пошло. Собирали
бабушку Апросю, как на свадьбу. Даже лицо
заставили помыть настоем ромашки. Радуюсь
перемене — и посветлела все-таки, и стала не

такой плоской и прямой, как доска, — она
вздыхала однако:

— Ох, совестно мне! Стоко хлопот доста-
вила! Мы, Агатовы, неспривычны к уходу да
вниманию. Не обременяю никого, хотя б и из
родных. Тянем, тянем воз — и валимся. Без
хвори, без мук. Муки-то на ногах, в жизни
сносятся. А как уж пал — тут и смерть. Лех-
кая, со вздохом. Косточки потянул — и все.
И бабушка, помню, и мать, помню, говарива-
ли: то нам господь муки за труд непомерный
снял. Дурны мы до работы... Ой, дурны!

Я-то, чувствую, волнуясь за нее: ну как
дело сорвется! И даже когда все решилось,
когда нашу необычную бабушку Апросю оста-
вили ночевать, чтоб получше да побыстрее
познакомить с детьми, все не проходило вол-
нение. Шел домой и, заслушав позади торо-
пливые приближающиеся шаги, оглядывался:
неужели она? Сбежала?!

Раз или два потом встречался со своим
однокашником. Спрашивал: ну, как там баб-
ка? Управляется? Он улыбался загадочно, с
юмором, но говорил неопределенно: «Прити-
раемся». А потом, в разгар лета, она сама
вдруг заявила ко мне. Да со своими подо-
печными. Мальчики загорели, поправились.

— В бетонных стенах держали. Где тут
соку возьмешь? — разгадав причину моего
удивления, проговорила бабушка Апросия. —
Мы теперь каждый день купаемся, в лес вот
ходили. И подарок тебе, профессор, принесли.
Принимай.

Все мальчики — одному пять, двойне по
четыре — с рюкзачками. И я не сдержался,
видя, как она снимает с них, разморенных
жарой, ходьбой, эти рюкзачки:

— Да что они могут унести?

— Сегодня два оладышка да баклажку с
водой. А завтра, как я, все унесут. Что ни
взвалит жизнь. Не принижай нас, профессор!
С оладышка да земного простора начина-
ем, — и рассупонивает с детьми рюкзачки,
приговаривает: — Угощайте дядю пучками.
Сочные пучки, скусные. Это хороший дядя.
Когда ночью заснете, я лежу среди вас, глаза
тарашу: отчего ж говорят: бога нет? Теперь
бы и поблагодарила, что в старости по-
мощника послал такого. Жизнь возвратил мне.

Я ем пучки, а их угощаю чаем с вареньем. Дети, поев, начинают клевать носом — умаялись.

— Дядя, если мы поспим у тебя? — и она разом берет их троих, несет, укладывает. Потом подсаживается ко мне: — Профессор, книжек-то дашь? Сказков. Возьму да почитаю когда ребятишкам. С охотки и послушают.

— Дам, какой разговор! Но как сама-то живешь? Вроде и не няня, гувернером стала, а?

Смотрит на меня: непонятное слово «гувернер». Объясняю. Она отмахивается:

— Няня я. При них, при детях, няня. А в семье — навроде парторга. Ты не смейся, профессор! Товарищ твой... ох, беспокойный! С порохом! Как чуть — уже пых! Затуркал бабенку! До детей ли было? Так я беседы провожу. Нет, без крика. Возраст меня обя-

зывает. На дыбки вроде б он: не лезь в наши дела! Поясняю: теперь дела общие. Радость, как воробья, из рук упустишь — и не вернешь, улетит. А при радости, при согласии — все в жизни нипочем. Немца согласьем одолеи! Так вот теперечь приговариваются: — переходи-ка, Павловна, к нам, чего мотаться? Я им отвечаю: погодите, у меня есть профессор, с им посоветуюсь.

Я гляжу на нее и смеюсь: да та ли это бабушка Апрося?

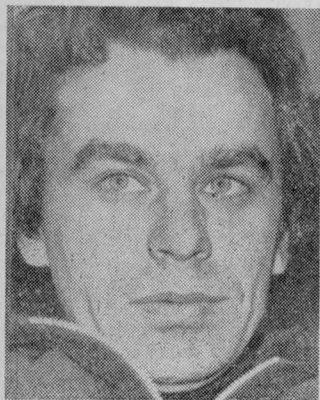
— Так идти иль нет? — спрашивает.

— Ясное дело! — отвечаю. — Но не гувернером. О гувернерстве и речи нет. Парторгом. И не иначе, Ефросинья Павловна. Только парторгом! Раз хозяин с порохом, без парторга в семье не обойтись.

— То-то спасибо, тебе, профессор. И я так думаю...



г. Новокузнецк



Владимир Соколов

* * *

День убегает от меня.
Его догнать пытаюсь.
Но между ним и мной — стена:
вечерняя усталость.

Я спать ложусь, но день — за мной
с фонариком в ладонях.
Его дыхание — за спиной...
Сейчас меня догонит!

То я за ним, то он за мной.
Ночь обратили в будни.
— У вас бессонница давно,—
не понимают люди.

* * *

Бесполезно я руку поднял —
ничего не свершу, не нарушу:
не отломится камень от скал,
мановенье не даст ему душу.

Бесполезно дал силу плечу —
все пребудет таким же, как прежде.
Разве только как птица взлечу?..
Как нелепая птица в одежде..

Налетаюсь, потом опущусь
с тем же бытом, оставленным,
 вровень,
примагниченный тяжестью чувств,
поскользнувшись на собственной
 крови.

* * *

Не спала.
Притворялась ты спящей.
Свет включил.
Нарочито стучал,
выдвигая за ящиком ящик,
заваливающий окурок
искал.
Ну а ты?..
Притворялась ты спящей.
Притворялась ты
настоящей.
А была —
виновато молчащей.
Впрочем, я не винил:
понимал.
Выдвигая за ящиком ящик,
заваливающий окурок
искал...

И. Дрейцер

„...В МИСТИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ С ПРИРОДОЙ“

Финская мозаика

В предлагаемых вниманию читателей заметках — рассказ о Финляндии. Точнее, о некоторых сторонах ее жизни. Не более того. Если за десять дней ты посещаешь семь городов да еще несколько хуторов, если каждый из дней включает три продолжительных трапезы, а день приезда и день отъезда — старая административная истина — всегда лишь один день, то, сложив наблюдения, едва ли получишь большой материал.

Здесь ведь очень существен и тот темп, который задает программа. Воспринимаемое на ходу («Посмотрите налево... А теперь посмотрите направо...») глубоких впечатлений, как правило, не откладывает. Вот почему предлагаемый рассказ о нашем северном соседе по необходимости будет отрывочным. Мозаика. Картина, составленная из отдельных камешков-наблюдений.

И еще. Население этих заметок... Они практически безлюдны. Те незначительные встречи с финнами, которые автор имел во время поездки, явно недостаточны для разговора.

Туризм в Финляндии — сравнительно молодая отрасль экономики. Наряду со множеством иных, более глубоких объяснений, и по этой причине тоже мы знаем о ней до обидного мало. В самом деле, что приходит на память, когда думаешь об этой стране! Что прочно вошло в наш культурный обиход? Ну, конечно же, «Калевала» прежде всего — этот великий и цельный памятник народного творчества, собранный доктором Элиасом Леннротом.

Сын бедного деревенского портного, он — ценой упорного труда стал хирургом и выдающимся филологом. Его жизненный подвиг во

многом схож с тем, что сделал у нас, скажем, в лексикографии Владимир Иванович Даль.

Эти культурные реминесценции дополняются именем Хеллы Вуолийоки с ее циклом пьес о женщинах Нискавуори (услужливая память живо воспроизводит величественную Веру Николаевну Пашенную в роли Старой хозяйки). За ней следует Майю Лассила, автор известных юмористических повестей, в том числе «За спичками», экранизированной у нас не так давно.

В этом же ряду непременно окажутся Ян Сибелиус — титан финской музыки, Алвар Аалто — выдающийся зодчий, от кого почти на протяжении полувека в значительной мере зависела погода в новой архитектуре. И уж вовсе популярным стало у нас имя Марти Ларни.

Впрочем, по другим параметрам соседство страны тысячи озер более ощутимо. И здесь постоянно сказывается главным образом влияние ее теплого политического климата.

Подобно Гольфстриму, существенно смягчающему продолжительную финскую зиму, он делает наши отношения добрососедскими.

Политика нейтралитета, которой последовательно придерживается Финляндия, получила широкое международное признание. Не случайно в Хельсинки проводился ряд крупных конференций. Здесь, напомню, велись переговоры по ограничению стратегического оружия. Симптоматично, что именно в финской столице состоялась заключительная часть совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Хельсинки вам с гордостью покажут место, где проходило это совещание.

...Здания, как и книги, имеют свою судьбу. Один из самых значительных международных форумов последних лет оказался причастным к наиболее интересному творению выдающегося финского зодчего Алвара Аалто, ставшему лебединой песней мастера.

Дворец конгрессов «Финляндия», а речь идет, конечно же, о нем, расположенный в парке Хэсперия, — одна из достопримечательностей столицы. Выполненный из белого каррарского мрамора, черного гранита и меди [использование меди в сочетании, например, с красным кирпичом — характерный прием финской городской архитектуры], Дворец ориентирован фасадом на залив и образует, в сочетании с водой и окружающей его зеленью, величественное зрелище.

Сегодня его архитектурный «антураж» еще отсутствует. По этой причине Дворец воспринимается изолированно, отдельно стоящим зданием. И лишь знакомство с генеральным планом дает представление о том, насколько логично такое решение. Дело в том, что в ближайшем соседстве с Дворцом расположены пути товарной станции Хельсинки. Между тем Хельсинкский полуостров, согласно генеральному плану, разработанному тем же Аалто, как раз и составляет сердце нового столичного центра. Для его создания наметчен перенос этих путей с сохранением примыкающего к ним здания центрального вокзала — выдающегося творения Элиела Сааринена, очень своеобразной визитной карточки столицы.

Нужно полагать, что, когда ансамбль нового городского центра будет завершен, Дворец «Финляндия» откроется зрителю какими-то новыми, дотоле не воспринимавшимися гранями. Эффект ансамбля, уверен, не замедлит сказаться.

Старый центр города — Сенатская площадь — при всей неповторимости его архитектуры сегодня уже воспринимается градостроительным анахронизмом. Созданная в первой половине прошлого века, когда население финской столицы едва достигло четырех тысяч человек, площадь уже не в состоянии обеспечить своей первоначальной функции — служить общегородским центром. Да в этом, строго говоря, и нет особой нужды.

Градостроительное развитие столицы позволило сохранить ее ансамбль, образуемый величественным Кафедральным собором, университетом, Государственным советом и другими зданиями в стиле ампира, своеобразным архитектурным заказником.

Характеризуя развитие Хельсинки в прошлом, авторы рекламных проспектов не преминут привести такую оценку: «Это последний европейский город, который проектировался

как единое целое и создавался как произведение искусства».

Отдадим должное современным градостроителям: не прервалась связь времен в финской столице. Установка на комплексность и красоту получила логическое развитие во всех планировочных работах дня сегодняшнего.

Небезынтересно отметить, что финское языковое сознание относит Хельсинки к женскому роду. Дочерью Балтийского моря любовно называют финны свою столицу. И пестуют ее как любимицу, щедро одаривая многими благами. К примеру, появление только полумиллионного жителя будет озаглавлено пуском первой очереди метрополитена — это произойдет в 1982 году. Хотя по нашим представлениям город спокойно мог бы обойтись и без такого дорогостоящего сооружения [«Это будет самый бесполезный метрополитен в мире», — иронизируют сами финны].

Отцов города можно понять — это ведь престижно и хорошо импонирует столичным амбициям. Не их вина, что город так мал... По прогнозам демографов, лишь к двухтысячному году Хельсинки достигнет миллионной отметки, а с пригородами в нем будет жить полтора миллиона человек.

Сегодня же характер миграционных процессов здесь таков, что с 1968 года столица «похудела» почти на сто тысяч человек. Произойдет перелив населения главным образом в близлежащие города-спутники Эспоо и Вантаа, претерпевшие за это время серьезный демографический всплеск.

Мне не раз придется возвращаться в этих заметках к творчеству финских зодчих. Тому есть по крайней мере несколько объяснений. Это, прежде всего, отражает пристрастия автора. Далее, из всех туристских объектов архитектура — плохая ли, хорошая ли — больше многого иного остается один на один с иностранцем, оказывается наиболее доступной, что ли, для него.

Впервые Европа обратила внимание на архитектуру малонаселенной северной страны с очень неприветливой природой, когда Элиел Сааринен в 1914 году построил уже упоминавшийся вокзал в Хельсинки. Если вести отсчет от этого вокзала, зодчество страны Суоми проделало очень большой путь, на котором было много интересных имен и значительных обретений.

Основное из них, пожалуй, — в умении хорошо строить отношения с окружающей средой. Приведу свидетельство архитектора Кирмо Миккола — мне кажется, оно точно характеризует суть проблемы: «Как известно миру, наиболее важное в финской архитектуре в каждый период ее развития — некоторые вы-

дающиеся личности с их исключительными произведениями: церквями, административными зданиями, особняками и образ нации, живущей в мистическом единстве с природой, нации, которая строит свои дома спрятанными в природе, как в Тапиоле и других новых жилых районах».

В оценке Миккола, свидетельствую, нет перебора. Ну... почти нет перебора. Скажем так. Где следует искать истоки такой благодати? Полагаю, что в первую голову — в окружающей природе. Уже сам финский ландшафт — сильно всхолмленный рельеф с обилием леса и воды, главным образом, озер (их свыше шестидесяти тысяч) — диктует планировочные модели, которые наиболее полно согласуются с природным окружением.

Смысл такого подхода довольно прозрачен. Он очень экономичен прежде всего — исключается необходимость заниматься землепереустройством. Попытки «улучшить» природу, известно, всегда не дешевы. Финский архитектор никогда не предложит снести горку в одном месте, чтобы заполнить естественную емкость в другом. Главное же преимущество такого подхода в том, пожалуй, что человек не отторгается от природы. Она сохраняет свое благотворное воздействие на него постоянно, а не только в короткие уик-энды, когда он вырывается из города.

Впрочем, не исключаю, что этот феномен — вовсе иной природы, сложился исторически. Финский крестьянин — а ведь от него «есть пошла» городская цивилизация — от веку жил уособленно, ставя свой хутор в нескольких километрах от ближайшего соседа. Эта расселенческая специфика не могла, кстати, не сказаться и на особенностях его характера — немногословии, кажущейся угрюмости.

Планировочная организация финских городов, исключая, пожалуй, центры крупнейших из них, такова, что пешехода здесь неотступно сопровождает зелень. Не говоря уже о домах — они остаются надежно защищенными от городской суеты рельефом, живой изгородью или густыми кронами деревьев.

Интересная деталь: рачительные финны почти не тратятся на ограждения. Малоэтажная застройка — особняки — скрыта, как правило, зеленой изгородью, высота которой колеблется в довольно широких пределах. Тротуары же отделены от проезжей части улицы лишь символически — слегка приподнятой над нулевой отметкой бордюрной плиткой. Последнее в значительной мере обусловлено не вероятной (по нашим меркам) дисциплинированностью финского пешехода, поведение которого при переходе улицы регулирует только светофор.

Невысокую ажурную литую решетку увидишь довольно редко. Главным образом — в ограждении старых памятников. Вся архитектура распахнута.

Несколько слов о географии нашей поездки. Хельсинки, о котором уже шла речь, завершал маршрут. В его начале был Лахти — известный город зимнего спорта. Затем последовательно — Ювяскюля, губернский центр в сердце страны, Тампере, промышленный город, побратим нашего Киева (в Финляндии почти каждый город породнен с одним из наших), место проведения I и II конференций РСДРП, знаменитых Таммерфорских; Наантали — курортный городок на берегу Ботнического залива со средневековой церковью и летней резиденцией Президента Республики — Култамаранта; и, наконец, Турку — третий по численности населения, после Хельсинки и Тампере, и древнейший город страны, средоточие шведской культуры, почти шестьсот лет бывший столицей государства. В отличие от других центров Финляндии, здесь сегодня два университета — финский и шведский.

Если учесть, что почти треть территории страны находится за Полярным кругом, а наиболее плотно населенный юг — как раз самая урбанизированная ее часть (в трех названных крупнейших городах вместе с их пригородами проживает примерно четверть населения), то без особого перебора можно утверждать, что нам привелось познакомиться практически с самым интересным, чем богата страна.

Наиболее устойчивая дорожная примета (а нам довелось проехать по стране свыше тысячи километров) — постоянная близость природы. Урбанизированные оазисы встречаются редко. Магистраль вызывает ассоциации с просеками: по обе их стороны — плотный лес, перемежаемый водой.

Поездки ничуть не утомляют — качество дорожных покрытий высокое. И, как правило, всегда одинаковое. На любых участках. Дороги рядовые, районки, как их называли бы у нас, столь же безупречны по качеству покрытия, но уступают им в ширине полосы. Часто рядом со стоянками — ажурные деревянные конструкции для молочных бидонов. Сельская Финляндия — в основном хуторная, и эти обочины зачастую служат устьями глубоких транспортных вводов в поместья. Принятых у нас павильонов, где можно укрыться от непогоды, как правило, нет — уровень автомобилизации высок...

Движение довольно интенсивное, особенно на участках между большими городами. Незагруженного транспорта не увидишь. Автомобили используются предельно. Особенно

лесовозы. А их на финских автодорогах, по понятным причинам, довольно много. Решетка-каркас, вырастающая из платформы лесовоза метра на три, заполнена доверху.

Обратил на это внимание моего соседа автотранспортника.

«А что тут удивительного,— был ответ,— хозяин ведь не запишет непогруженных тонн...»

Если держать в уме то обстоятельство, что автотранспорт принимает на свои плечи львиную долю грузооборота страны, то станет понятным высокий смысл такой благодати.

Столь же устойчивая, как лес и вода, примета Финляндии — скальные обнажения, в некоторых местах напоминающие по высоте и конфигурации наши красноярские «столбы».

Очень часто вспоминалось в пути минаевское «Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром». При всей экзотичности этих обнажений [многие из них сложены из хороших разновидностей гранита] они довольно ощутимо урезают и без того небольшой посевной клин страны. Если сюда прибавить и невысокие кондиции почв — по какой-то неисповедимой игре природы они почти не отличаются по цвету от действительно бурых, с отливом в синь скал, то легко догадаться, насколько трудоемко их возделывание.

Тем не менее поля всюду хорошо ухожены. Впрочем, по нашим сибирским масштабам такое и полем не назовешь. Так себе, небольшие заплатки, оконтуренные лесом, озером или — и того хуже — скалами.

Даже в глубинной части, в стороне от магистралей, уголья не намного крупнее. И тем большего восхищения достоин тот высокий сьем продукции, которого добиваются крестьяне в пересчете на гектар угодий: и зерновых, и мяса, и молока.

...Хутор Кансанлахти километрах в сорока от Ювяскюле. Предусмотренное программой знакомство с хозяевами и их владениями. Без малого 80 гектаров земли, включая лес и озеро. Несколько дачных домиков, сдаваемых на лето без пансиона, — существенная прибавка к основным доходам. Хозяйственные постройки: коровник, сарай для трактора и навесных орудий к нему. Мастерская. Непременный атрибут в хозяйстве каждого финна — сауна. [Всеведущая статистика утверждает, что в стране миллион бань — примерно по одной на каждые пять человек!]. Просторный дом, где живут хозяева. Городской уровень удобства: телефон, телевизор, центральное отопление.

До недавнего времени специализация хозяйства была молочной. Постоянно содержалось до двух десятков коров. Молоко — повышенной жирности.

Болезнь хозяина — паралич обеих ног — вынудила сменить специализацию. Сейчас благополучие хутора зиждется на овцах. Сегодня

их тринадцать. К весне ожидается четырехкратное увеличение поголовья. Здесь, пожалуй, самое время задать оценочный масштаб — все хозяйство ведут два человека — муж и жена. Лишь в страдную пору приглашают с соседнего хутора одного-двух человек на несколько дней [на условиях взаимовыручки]. Взрослые дочери живут отдельно и помощи в ведении хозяйства не оказывают. [Ох уж эти взрослые дети! Как, в сущности, одинаковы всюду житейские проблемы].

Конечно, без надлежащей механизации двои таких объемов не поднять. Все обеспечивает небольшой, «лошадей» на восемьдесят трактор, оснащенный примерно двумя десятками навесных орудий. Да и коровник хорошо механизирован, так что ручной труд сведен к минимуму. Масса различных приспособлений и устройств, сберегающих, как выражаются политэкономы, живой труд.

И тем не менее... Достаточно посмотреть на руки хозяйки, чтобы понять, насколько нелегок этот облегченный труд. При всей перегруженности работой по хозяйству, она успевает еще заниматься декоративно-прикладным искусством. На стенах квартиры несколько gobelенов, созданных ее руками.

Трудолюбие финна, и не только крестьянина — черта национальная. И когда встречаешься с овеятыми результатами их деятельности, то как-то очень предметно начинаешь представлять гениальную в своей простоте мысль о том, что в основе всякого богатства лежит труд...

В тот же день нам довелось посетить еще один хутор. Соответствующая строка программы это мероприятие определяла как «обед по-деревенски у Нинимяки». Больших размеров поместье. С разнообразной специализацией хозяйства. Выражаясь современным языком, агропромышленный комплекс в миниатюре.

Кроме мясо-молочного направления с обеспечивающим его полеводством, в хозяйстве — небольшая мастерская по изготовлению пользующихся большим спросом бочек-саун. Разумеется, из собственных лесоматериалов. Дополнительное направление хозяйствования — кормление в «стиле пейзажа», организация рыбной ловли, праздничных вечеров на воздухе, деревенских бань [по-черному и обычных].

Такое хозяйство собственными силами не поднимешь. Здесь уже наличествуют элементы чуждой нам формы организации экономики — используется наемный труд. Вместе с хозяином и его сыновьями в мастерской занято несколько сторонних работников. Да и готовить обеды для многочисленных гостей хозяйке помогает соседка.

Уровень механизации труда и здесь, естественно, высок. А санитарно-канализационное обустройство избы-столовой в стиле «ретро» — не исключая даже, что она действительно построена в прошлом веке, — на уровне наших дней [если за эталон новизны принять известные международные выставки в «Сокольниках»]. Но ведь ко всему нужно приложить и руки. Приготовление обеда на тридцать-сорок персон, а затем мытье посуды требуют каких-то усилий...

Не хотел бы быть понятым превратно: рисовые здесь картинки — эдакую идиллию в духе рождественских рассказов — не следует воспринимать апологией финского жизнеустройства. Суоли — страна иного, по сравнению с нами, способа бытования экономики. Да и образа жизни тоже. Со всеми свойственными этому порядку достоинствами и недостатками. Именно с таких позиций и должно судить обо всем этом.

Но независимо от характера владения общественным пирогом, финнов, каждого в отдельности, отличает достойное уважения трудолюбие, высокая ответственность за дело, которым они заняты. Так, по крайней мере, мне показалось.

Турист, понятно, соприкасается, в основном, со сферой обслуживания. А это, кстати, — очень существенный сектор национальной экономики. И высказанная здесь оценка перебора, право же, не содержит.

Могу предложить подтверждение этой мысли более продолжительным контактом, нежели красноречивый диалог в магазине или обмен любезностями с гостиничным портье. Случилось так, что в первый же день пребывания в стране (это было в Ювяскюля) я умудрился сломать руку. Помощь была оказана, как теперь принято говорить, на уровне лучших мировых стандартов [качество наложенного гипса вызвало восхищение наших медиков]. Две рентгенограммы, две инъекции, процедура приведения руки в исходное состояние, наложение гипса и повязки, печатание документа на машинке — все это заняло не более получаса. Между этими процедурами и во время оных стороны вели светскую беседу на английском языке, характер которой в глазах автора-пациента напрочь опровергал бытующее у нас [не без влияния книг Э. Грина и Г. Фиша] представление об угрюмости финнов и отсутствии у них чувства юмора.

Незадачливый пациент получил на руки, точнее — в здоровую руку больничную карточку вместе с пожеланиями приятных дорожных впечатлений. И с рекомендацией пройти контрольный осмотр [рентгенографию] через пять дней в Хельсинки.

У этой истории оказалось интересное продолжение, не скрою, приятно удивившее меня. Обратившись в указанную в карточке столичную больницу, узнал, что туда уже поступило письмо от врача из Ювяскюля, и они ждали меня к двенадцати часам. Здесь уж, как говорится, ни убавить, ни прибавить!

Но пора, пожалуй, повернуть разговор в архитектурное русло. Итак, чем же интересна Тапиоле? Что составляет суть ее концепции? Говорить при этом следует сразу о двух молодых городах — Тапиоле и Отаниеми, точнее, о двух районах нового города Эспоо, находящегося на полуострове Хагалунд, примерно в восемнадцати километрах западнее Хельсинки [население — 120 тысяч человек, статус города — с 1972 года].

Проект генерального плана Отаниеми — городского Политехнического института — разработан Алваром Аалто еще в 1949 году. Ему же принадлежат и проекты центральных сооружений — главного корпуса политехнического института, его библиотеки и котельной. [Архитектура промышленных зданий в стране, как правило, очень выразительна.]

Торговый центр, студенческие общежития, ресторан, клуб, церковь и другие здания проектировали разные архитекторы.

Проект генерального плана Тапиолы, расположенной несколько южнее Отаниеми, создан в 1951—1952 годах архитекторами Х. фон Хертценом и О. Мейрманом.

Общее для двух этих городов — полная «растворимость» ансамблей составляющих их зданий в живописном ландшафте. Лес здесь выступает как бы соединительной тканью для сильно расчлененной застройки. Каждый из городов четко зонирован. Отаниеми, к примеру, разделен на три зоны: центральную с комплексом зданий политехнического института и торговым центром, южную [группа научно-исследовательских институтов] и восточную [студенческие общежития с рестораном, клубом, церковью, баней].

Спортивный комплекс и ряд общественных зданий находятся в промежутке между центральной и восточной зонами, рядом со студенческими общежитиями. В непосредственной близости от жилой зоны и в Отаниеми, и в Тапиоле автомобильного движения нет. Транспортные магистрали обтекают ее. Доступ к каждому микрорайону, кроме автодороги, обеспечен сетью пешеходных троп, заметно сокращающих расстояние.

Визуальная связь между группами зданий практически отсутствует. Это однако не создает впечатления хаотичности, а воспринимается, напротив, стройной системой.

У Тапиолы, в отличие от Отаниеми,— иная планировочная организация. Город-сад, или, точнее, город-лес. Еще точнее — город-спальня: многие жители Тапиолы работают в Хельсинки, затрачивая на поездку до столицы 20—25 минут на автобусах-экспрессах.

Сообразно назначению города и определена его планировочная структура. Он расчленен на три микрорайона, разделенные между собой лесом и обширными озелененными территориями. У каждого микрорайона своя начальная школа и свой торговый центр, а также свой высотный ориентир — 12-этажное здание. Общественная жизнь города сосредоточена в общерайонном центре, с очень своеобразной структурой застройки, пространственным акцентом которой стал водный бассейн [для его сооружения использован заброшенный карьер]. На створе бассейна и небольшого торгового центра [цветочные киоски, магазины, павильон, где экспонируется макет Тапиолы] расположено несколько высотных зданий. На верхнем этаже одного из них — ресторан с видовой площадкой. Анфилада пространства между торговыми рядами и бассейном с интересной архитектурой малых форм доступна только для пешеходов. Скоростная магистраль, связывающая Тапиолу с Хельсинки, вынесена за бассейн. Архитектурно-художественная выразительность города усиливается еще и тем, что у каждого микрорайона — свое «лицо». Дома формируются в небольшие группы. У каждой группы — свой автор и, следовательно, свои неповторимые черты.

Этажность застройки небольшая, что опять же диктуется стремлением «спрятать» дома в лесу, обеспечив хорошее насыщение каждой квартиры свежим воздухом. Выделяется по своей архитектуре один из жилых комплексов Тапиолы, в котором форма рельефа удачно подчеркивается изменением этажности и зигзагообразностью корпусов зданий, повторяющих рельеф.

Предприятия города сосредоточены в отдельной зоне, хотя они и не образуют каких-либо вредностей — в основном легкая и обслуживающая промышленность. Такая строгость при зонировании обеспечивает городу, его жилым районам прежде всего комфортные условия.

Перечисленные планировочные особенности делают Тапиолу образцово-показательным поселением даже в условиях Финляндии — страны с довольно высоким уровнем архитектуры. Резкий отход от регулярных приемов планировки к свободной застройке оказался весьма конструктивным. Не случайно результаты этого удавшегося эксперимента, «уроки Тапиолы» используются сейчас и при застройке других городов, в частности Хельсинки.

Утверждают, что у проектировщиков Тапиолы была интересная «сверхзадача» — достичь архитектурными средствами «социального равновесия» путем смешанного расселения различных общественных групп. Не знаю, в какой мере эта завидная цель была достигнута — обзорной автобусной экскурсии по городу для этого явно недостаточно. Но даже если судить по довольно демократичным типам зданий, которыми застроен город, — здесь совсем нет дорогостоящих особняков-дворцов, вилл и даже коттеджей — то и социальный аспект Тапиолы, похоже, при всей спорности исходной установки не лишен интереса.

Перед входом в политехнический институт, у подъездов общежитий — огромные стада велосипедов, покоящихся на откидных планках. Такие картинки характерны практически для всех городов страны. Их увидишь и на перроне вокзала, и перед входом в магазины, и у присутственных мест.

Очень удобно объяснять тотальную велосипедизацию дороговизной общественного транспорта. Полагаю, однако, что в таком толковании — лишь незначительная доля правды. Большую ее часть следует искать отнюдь не в экономической плоскости. Уж если на то пошло, велосипед не загрязняет среды, ну а главное его достоинство в ином. Он хорошо компенсирует гиподинамию, малоподвижность — массовый недуг нашего ультрамашинизированного века.

Распространению велосипеда способствуют и специально предусматриваемые велосипедные дорожки, идущие параллельно тротуарам. Их увидишь в каждом городе. Характерно и другое: велосипед — не прерогатива молодежи. Отнюдь. Почтенных лет старушка и ученик, студентка и рабочий — колонны велосипедистов пестры по своему возрастному составу. Кстати, и переход на велосипед вовсе не помечен началом топливно-энергетического кризиса. Это — традиция, давний элемент финского быта.

Что выделить особо из обилия увиденного за 10 дней!

Пожоже, что материалосберегающее направление хозяйствования пронизывает все сферы экономики, не говоря уже о быте.

В санузле одной старой гостиницы — да извинит меня читатель — видел водопроводные трубы, сечение которых примерно в два с половиной — три раза меньше наших. При этом напор в душе безупречен, хоть гидротерапию проводи. Не случайно отметил возраст гостиницы — во всех новых сети, разумеется, упрятаны.

Вы не встретите нигде массивных металлических ворот. В старой застройке во дворах, отделяемых узкой аркой, смонтированы короткие турникеты (не больше метра), не позволяющие при их приведении в горизонтальное положение угнать автомобиль.

Обращает на себя внимание качество строительных работ. Нигде не отыщешь отвалившейся штукатурки или плохо состыкованной облицовочной плитки. Собственно, стыки, как таковые, просто не видны — поверхность кажется цельной. Многоэтажные жилые дома — крупнопанельные с офактурованной поверхностью панелей — с любого расстояния выглядят добротными.

В строительстве общественных зданий широко используется монолитный железобетон. Архитекторы прямо-таки виртуозно обыгрывают (а строители им в этом не мешают) его пластические возможности. Много строят из хорошо обожженного красного кирпича, поверхность которого кажется полированной. Это его качество, вкупе с безупречной кладкой и расшивкой швов, придает дополнительную выразительность архитектуре. В кирпиче чаще исполнены здания общественные: клубы, театры, церкви.

В Лахти совсем недавно построена церковь из красного кирпича, спроектированная Алваром Аалто, в Тампере — один из туристских объектов — церковь Калев работы архитектора Рейма Пиетили (железобетон). Им же, кстати, был спроектирован и студенческий клуб «Диполи» в городке политехнического института Отаниemi. Но, пожалуй, больше всего впечатляет современная церковь «Тайваллахти» на Тампеллаукио, в Хельсинки, работы братьев Тимо и Туомо Суомалайнен. Высеченная в твердой гранитной скале, заглубленная в эту скалу до размеров, обеспечивающих стандартную высоту интерьера, она блистательно иллюстрирует уже упоминавшуюся способность финских зодчих гармонично сочетать природный материал с окружающей искусственной средой.

Такая «экзотичность» делает эту церковь весьма популярной. Нередки случаи, когда венчаться приезжают сюда из-за рубежа, и подчас неблизкого — эдакий современный шик.

Два слова — о гостиницах. Гостиничный бал в стране правит кооператив «Соко», объединяющий шестьдесят отелей, расположенных на всей территории Финляндии (есть, кроме того, и множество частных). Как правило, они

находятся в центре города или в непосредственной близости к природе. Вместе с ресторанами и кафе эти гостиницы образуют довольно густую сопряженную сеть учреждений обслуживания (бесплатное бронирование номеров во всех городах).

Многие гостиницы кооператива имеют возможность для проведения конференций, совещаний, симпозиумов. Это очень удобно: в одном месте решаются все организационные проблемы — жилье, место проведения, питание и спортивно-культурное обслуживание.

В вестибюлях любых гостиниц, кроме рекламных проспектов, — листовки с очень необходимой для гостя информацией о транспорте, театрах, достопримечательностях города и др. Как правило, на четырех языках — финском, шведском, английском и немецком. Некоторые музеи и другие туристские объекты учитывают и языковые потребности советских посетителей.

Обращает на себя внимание отсутствие какой-либо чопорности в так называемом «истблишменте» — большинстве установлений, регулирующих городскую жизнь. В сердце Хельсинки, на площади перед Президентским дворцом — очень красочный рынок под открытым небом. (Его присутствие обусловлено здесь близостью Южной гавани, через которую главным образом крестьяне попадают в столицу. Впрочем, и центральный вокзал — не очень далеко.) Кстати, сразу же после окончания работы рынка площадь обретает стерильность операционного стола.

Перечитал написанное и понял, что об очень многом так и не удалось рассказать — о финском дизайне, к примеру, пользующемся мировой известностью, о музеях, о городских интерьерах с очень красноречивыми средствами визуальной информации, о саунах и о многом другом.

Но ведь, как свидетельствует бессмертная «Калевала»:

Водопад, и тот в паденье
Не всю воду выливает,
Точно так же песнопевец
Не споет всех песен сразу.

Лучше вовремя их кончить,
Чем прервать на середине.

Лидия Гладковская

В ЗЕРКАЛЕ ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Мартовский номер «Литературного обозрения» за 1980 год обратился к женщинам-писательницам с анкетой. Повод — праздничный, и обращение не без улыбки. Это более всего чувствовалось в вопросах, которые анкету открывали, — странноватые, вроде бы не обязательные и поэтому неожиданные, они донимали пишущих женщин: почему, по-вашему, писателей всегда было больше, чем писательниц, и есть ли разница между писательским талантом мужчины и женщины? Журнал печатал ответы лишь трех участниц, ссылаясь на традицию: дескать, тридцать три богатыря и только три грации. Однако вызов был принят. В ответах была и улыбка и серьезные размышления, показавшие, что были заданы вовсе не праздные вопросы, хотя над ними раньше как-то задумываться не приходилось. В особенности это относится ко второму вопросу. Правда, Лилли Промет уверена: создавая образ мадам Бовари, Флобер не становился женщиной, так же, как Лев Толстой, создавая Анну Каренину. М. Ганина напомнила: «есть много мужчин, пишущих по-дамски, есть писатели-женщины, про которых говорят: «мужская рука». Иными словами, добротная проза талантливого литератора не требует скидок на пол. Вместе с тем, та же М. Ганина подчеркивала значение женского опыта как неотъемлемой и специфической части опыта человеческого. А Маро Маркарян (Ереван) откровенно выражала желание, чтобы в ее собственной поэзии читатель узнавал именно

женщину, всю тонкость ее душевных движений, ее настроения и чувства.

Сейчас нет необходимости искать объяснения тому, как сложилось представление, что писать по-дамски, значит — плохо. Инерция подобного представления еще существует. Между тем, опыт советской литературы заставляет признать, что «женское» начало имеет отношение не столько к уровню, сколько к содержанию творчества.

Нет особой «женской» литературы, «женской» прозы, но женское начало, как всякое личностное начало, накладывает свой отпечаток на произведение, вносит в творчество свои акценты и оттенки.

В этой связи не лишним будет вспомнить пример Г. Николаевой или В. Пановой. У них разные заслуги перед советской литературой. Но нельзя сбросить со счета, что, повинаясь своему жизненному и женскому опыту, они с успехом начали ломать сложившийся в литературе послевоенной поры стереотип, согласно которому внимание к частной, интимной жизни положительного героя, к его быту не только не обязательно, но и принижает, мельчит героя. Любовь — награда за доблестный труд, верность в любви приравняется к верности Родине. О чем тут, дескать, думать? А Г. Николаева всерьез писала о драме в семье Бортниковых. И хотя ее роман был безнадежно ослаблен болезнью бесконфликтности (кого из пишущих о колхозной деревне она тогда миновала?), семейная драма была

живой, достоверной. Аналогичная линия заняла достойное место и в многоплановом романе «Битва в пути».

Очень последовательно на чувстве любви, способности или неспособности любить испытала своих героев и Панова. Человечный талант писательницы, тревожно отреагировавший на «сердечную недостаточность» Листопада, дал толчок к пересмотру однозначного отношения к волевому напористому руководителю, полюбившемуся многим типу «делового» человека. Гуманистическое искусство Пановой обогатило нашу литературу, напомнив, какое серьезное общественное значение у серьезного художника приобретают интимные темы.

Вот и в сегодняшней литературе можно увидеть завоевания, развивающие традиции прежних лет. Если иметь в виду даже только женщин-прозаиков, они составляют довольно большой отряд работающих в разных точках Советского Союза. В этом потоке литературы хорошо просматриваются и ее общие тенденции и одновременно то, что порождено женским писательским опытом. Масштаб дарований при этом, естественно, различен, в соответствии с индивидуальностью дарования проявляется и общность устремлений.

Современным пишущим женщинам оказались очень близки нравственные искания, которые сегодня ведет вся советская литература. Их кровным делом стало отражение растущего внимания нашего общества к вопросам морали. На VII съезде писателей СССР настойчивое обращение литературы к нравственным, морально-этическим проблемам человека и общества было отмечено как одна из характерных ее особенностей. «Человеческие отношения,— говорил Л. И. Брежнев еще на XXVI съезде КПСС,— на производстве и в быту, сложный мир личности, ее место на нашей беспокойной планете — все это неисчерпаемая область художественных поисков». Литература ведет их на необычайно широком фронте. И «женская» проза находит для себя участки, где она всего действенней.

Сейчас можно оставить в стороне те произведения писательниц, которые непосредственно обращены к «женскому вопросу», нежи-

данно приобретаемому в последние годы большую остроту. Оказывается, в жизни все больше становится противников «эмансипе», недвольных и обеспокоенных издержками и крайностями женской эмансипации. О них зло и метко писал в «Литературном обозрении» Анатолий Стреляный (1980, № 9), в распоряжении которого полторы тысячи писем на эту тему. Немало и произведений, которые можно было бы включить в дискуссию. По ним видно, что наши писательницы не собираются отказываться от завоеванного, по-прежнему исходят из идеи равноправия и крайности эмансипации их не сбивают «с курса».

Однако, если «женский вопрос» можно и не выделять в качестве самостоятельной темы сегодняшней прозы, то только потому, что так или иначе он звучит в большинстве произведений, которые обращены к сфере отношений мужчины и женщины, к частной жизни человека, которую составляет и любовь, и семья, и отношения отцов и матерей к детям, и отношение детей к родителям, бытовая сторона жизни. Женщины пишут об этом много и охотно, хотя это и составляет их привилегии.

После того, как в середине семидесятых годов в нашей прозе произошел «любовно-бытовой взрыв», показавший, что художественный анализ интимной жизни позволяет делать выход к острейшим жизненным вопросам, никому уже не приходит в голову объявлять мелкотемьем само внимание к этой теме. Да и ссылки критики на примеры из классики почти банальны. Потенциальная «грузоподъемность» подобных тем очевидна и их общественное, гражданское звучание зависит лишь от позиции художника.

Произведения, созданные на рубеже 70—80-х годов пишущими женщинами, не во всем и не всегда удавшиеся, однако показывают существенные грани времени в частной жизни человека, в его интимных отношениях, через призму любовных и семейных коллизий обнаруживают болевые точки современного человеческого бытия и дают пищу для нравственных раздумий. Оказывается, что вне этого каждодневья человеческого быта, вне этого самого простого и «универсального» уровня общения

не могут считаться окончательно выверенными подлинные ценности, нравственные законы, на которые опирается советский образ жизни. А здесь женщины-прозанки чувствовали себя всегда уверенно и раскованно.

Москвичку Галину Щербакову до сих пор воспринимали как «молодежную» писательницу. Бурную реакцию вызвала ее повесть «Вам и не снилось», теперь получившая воплощение на экране. Этой повестью Г. Щербакова снискала себе славу защитницы молодых. Речь шла о любви современных Ромео и Джульетты, о силе и трагической незащищенности этой любви перед неумным и обычно своекорыстным вмешательством посторонних в отношения любящих. Однако у писательницы есть произведения и о немолодых, о тех, у кого большая часть жизни уже за плечами.

В повести «Стена» перед нами ужас тридцатилетней совместной жизни супругов, которых связывает друг с другом, по существу, только ненависть, постоянная, будничная. Существовая под одной крышей, в двух, словно навечно спаренных постелях, ужиная и завтракая за одним столом, они размежевались и не переступают границ своих владений. Они как бы не замечают друг друга, но старательно следят друг за другом и не упускают повода, чтобы укусить, обидеть, оскорбить. Общения между ними почти нет. Реплики лаконичны. Длинные монологи произносятся про себя. О переменах не помышляют — поздно. Думают лишь о том, кто раньше уйдет из жизни. *Его*, Вячеслава Матвеевича (или В. М.), уже не спасают «маленькие», рассованные по всей квартире. *Ее*, Ираиду Александровну (И. А.), одолевает хроническая бессонница. Да еще мучает желтая от проклятой рекламы напротив стена, которую И. А. обречена видеть каждую ночь. Машины, съезжая с эстакады, «находят их окно и оставляют на желтой стене летучий автограф. И всю ночь стена то корчится, то подмигивает, то пляшет...» Такая вот действующая на нервы картина, словно воплощенная насмешка над неудавшейся жизнью. Впрочем, сама-то И. А. вряд ли признает ее неудавшейся. Ведь она — деловая женщина — «фигура в министерстве» и вполне довольна «масштабностью» своей судьбы.

И все-таки их жизнь на пороге катастрофы. Это Г. Щербакова сумела показать убедительно. Что же произошло? Ведь все начиналось хорошо. Сами герои это помнят. Для каждого из них этот брак был удачей. «Они в те дни, не сговариваясь, играли по одним нотам». На фотографии, подаренной И. А., В. М. написал «Любимой» и был уверен, что с женщиной, в которой напрочь подавлено бабство и есть сдержанная строгость, он будет счастлив. Радовался, что победил в своем сердце Настю, первую, «незаписанную», жену, которую оставил, — она его «позорила». И. А. тоже видела в В. М. мужа, в котором нуждалась, мужа, «основательного». К тому же он должен был спасти ее от полезной, но тяжелой связи с шестидесятипятилетним начальником. В прошлом была любовь к Косте. Он погиб на войне. Но к воспоминанию о нем иногда примешивалось старое раздражение: он заставлял ее всегда поступать не так, как нужно и как она сама хотела. Потом появился вдовец с детьми. Он был в плену, и рождавшаяся любовь показалась западней, из которой И. А. «чудом спаслась». Таким образом, И. А. и В. М. сознательно строили свое совместное счастье, гордились тем, что были хозяевами своей судьбы, а получился капкан. Однако все, чем руководствовались они, строя «счастье», было ложью, лишено человеческого содержания. Недаром таким контрастом служит эпизодический образ «курицы Марии», как презрительно именует И. А. служащую своего отдела. «По мозгам министр» — и одновременно буквально светится любовью к детям, внукам, к книгам, картинам, птицам, собакам...

Г. Щербакову волнует здесь очень серьезная и большая проблема. «Человек — хозяин своей судьбы», «кузнец своего счастья» — что стоит за этими формулами? В нашей стране, где законом стала цель создать реальные условия для оптимального развития каждой личности, где гуманистична сама природа советского образа жизни, эти формулы стали расхожими. За ними — объективное право человека воспользоваться теми новыми человеческими обстоятельствами, которые наше общество ему предлагает, как бы взывая к

активности каждой личности. Исходя из этого, герои Щербаковой и строили свою жизнь. Но в трудную послевоенную пору, когда это происходило, когда героям пришлось «подталкивать», ускорять своими действиями проявление человеческой природы советского общества, обнаружилась опасность лишить формулу «человек — хозяин своей судьбы» гуманистического содержания. Целесообразная жизненная программа героев оказывается продиктованной рассудочными соображениями. Нравственное чувство в этом не участвует. А рассудок, не контролируемый хотя бы элементарным нравственным чувством, освобожденный от него как от ненужного балласта, выворачивает расхожую формулу наизнанку, лишает ее человеческого содержания.

Герои нашли себе вполне подходящее место под солнцем, но при этом потеряли себя.

Такая же опасность вполне реальна и для героини повести Валентины Сидоренко «Сок подорожника» («Сибирь», 1980, № 1), хотя тут свои конкретные причины. Перед нами снова семейный разлад, снова отчуждение мужчины и женщины. На первый взгляд многое в повести кажется знакомым. Первая безоглядная девичья любовь и доверчивость, обманутая циником, прикинувшимся несчастным. Сколько уж было вариаций на подобную тему! Чистая Анна и безнравственный Олег — это, можно сказать, нынче модные имена для героев соответствующего типа. Да и образ Олега, обаятельного циника, не кажется открытием. В нем просвечивают черты уже известного нам вампиловского Зилова.

На оригинальность не претендует и композиция повести, хотя она позволяет удачно совместить настоящее с прошлым. Основные события разворачиваются в течение одного дня, но в него вписаны эпизоды из прошлого. Временные рамки повествования вмещают почти всю жизнь Анны.

Однако о недостатке оригинальности очень скоро талантливая повесть В. Сидоренко заставляет забыть, оставляя в итоге впечатление удивительной свежести. Такое впечатление рождает, несомненно, язык — яркий, поэтический («Анна в дреме открыла веки. Луч от окна вонзился в зрачок, но Анна размяла его,

закрывая глаза...»), естественное, но неожиданное вторжение в строгое, точное письмо многозначной символики некоторых образов, неповторимая тональность повествования, слегка окрашенная настроениями героини. А главное — умение художницы по-своему взглянуть на семейный разлад Анны и Олега, рассмотреть в странный, уродливый характер отношений мужчины и женщины, решившихся на совместную жизнь.

Отправная точка повествования — трудный переломный в жизни день, когда отчуждение Анны достигло предела и беспощадно ясное сознание заставило признать: живет в чужом городе, с чужим ей человеком и занимается чужим делом. По-прежнему больше жить нельзя. «Вот-вот годы подкатят к тридцати. А счастливой и не была...» Это не самообман. Обманом оказалось то, что считалось победой, к чему стремилась Анна «в большой жизни».

Из деревни она хотела уехать в город, и мать, желая ей добра, советовала: «В городе приживись. Хотя как, а прилепись к нему». Анна и прилепилась. «Нежданно хорошо началась ее жизнь, так, как она и думать не могла». Мечтая с детства стать актрисой, она начала учиться. Кончить театральное училище ей не удалось, но актрисой она все же стала, актрисой кукольного театра.

Она влюбилась в Олега, ей даже казалось, что «в детстве, когда она думала о своей любви, она думала о нем...» Поначалу безнадёжная ее любовь в конце концов завершилась браком с любимым. И все же эти победы оказались мнимыми, счастья не принесли. В чем же дело? Ответ одновременно и прост, и сложен. Автор об этом говорит так: «Анне не хватило сил стать тем, кем хотелось». Налицо измена себе, своим мечтам и устремлениям. Реальная действительность не опрокидывает жизненные ценности, о которых Анна мечтает, не совершает и подмены одних другими, но Анне не хватает сил преодолеть препятствия на пути к ним. Отсюда обесцвечивание, обездушивание, омертвление того, что должно волновать ее душу.

Прежде всего, обманом становится любовь. Анна задает себе вопрос: «почему они... так счастливо сведенные судьбой, без помех, пре-

град, сведенные только молодостью, а не горем, не нуждой, как бывает иногда, не могли дать друг/другу счастья?» Ответ, в общем, ясен. Для своих отношений с Анной Олег избрал модель отношений хозяина к собаке. И Анна это безропотно приняла. «Хозяин», высшее существо, волен распоряжаться жизнью существа бессловесного, бесправного, присвоил себе право казнить или миловать. Играя на преданности, на страхе — оставить или выгнать, — Олег добился полного подчинения Анны. Она же и в самом деле готова сносить все от своего повелителя, боится его потерять и всякую его немилость принимает с благодарностью. Чем острее пережитый страх быть оставленной, тем больше благодарность за проявление милости. Весьма примечательно замечание автора по поводу того, что ослабевшая душа Анны наполнилась благодарностью «по-собачьи». Любовь Анны в определенном смысле эгоистична. Слабое существо боится быть брошенным, в частности, потому, что страшится остаться лицом к лицу с жизненными трудностями, от которых до поры удастся прятаться за спиной «хозяина». Такая любовь, изначально замешанная на потере человеческого достоинства, унижает Анну, закрепляет ее слабость, подавляет те немногие душевные силы, которые в ней таятся. Потому-то она и становится обманом, делается разрушительной.

Не принесла счастье Анне и работа в театре, хотя искусства кукловодства, трудно ей дававшегося, она все же достигла. Место актрисы кукольного театра добыто Олегом. Это тоже его милость. Случилось так, что они должны работать бок о бок. Олег постепенно выбился в помощники режиссера, а в гострольных поездках берет на себя и функции актера. Он насаждает чуждый творчеству дух, цинизм, халтурное отношение к делу. Вот почему работа Анны в театре не приносит ей радости. К тому же Олег нарушает одну из важнейших этических заповедей актера: не тащить на сцену свои личные заботы, ради высокого служения искусству уметь подниматься над мелочными обидами. А Олег может и на сцене оставаться жестоким и мстительным.

Ревнивый Олег в согласии со своей оскорбительно-прямолинейной логикой готов объяснить отчуждение Анны вторжением третьего лица. На самом деле бунт Анны, ее прозрение относительно собственной жизни называют постепенно. Она давно начала понимать, что «не связалось у них, не срослось, не стало жизнью, а так расплозлось трухляво, бесплодно, ничего не оставив в душе, кроме этой осклизлой горечи...»

Бунт Анны во имя своего женского и человеческого достоинства свидетельствует, что власть Олега над ее душой кончилась. Это воспринимается как обнадеживающее начало нравственного оздоровления Анны, обретения ею новых внутренних сил, ибо нельзя построить свою жизнь, не найдя себя, не позаботившись о воспитании в себе полноценной личности.

В начале повести есть такой эпизод: старенький автобус, который ранним утром везет Анну с коллегами по театру играть спектакли в пионерские лагеря, внезапно тряхнуло. Шофер Толя остановил машину, пораженный тем, как ястреб подстерег голубя, кружил вокруг него, а затем его, по выражению Толи, «таранул». И вот уже голубь лежит сверху лапами — не то раненный, не то убитый. В салоне автобуса это событие подверглось живейшему обсуждению. У бытового эпизода есть поэтический подтекст — предупреждение об участии, на которую едва не обрекла себя Анна, если бы не нашла сил выбраться из хищных лап Олега, позволила бы развиваться разрушительному для нее процессу.

С главными идеями повести связан и образ, давший ей название. Сок подорожника, как известно, помогает зализывать раны. В переносном значении — от него, как от всего, что ассоциируется с матерью Анны, чистотой и простой радостью детства, живым ощущением природы, исходит сила, утешающая душевную боль, возвращающая духовное здоровье.

В. Сидоренко отводит большую роль в жизни героини ее деревенским природным корням. «...Из чистой глуши родного дома, из безгрешной его сердцевины» и любовь, и радость, и люди представляются в спокойном и мудром свете, содействуя душевному прозре-

нию Анны. В ней крепко сидит материнская крестьянская закладка. Вернув себе ощущение родины, вновь обретенных родных мест, красоты родной земли, она получает способность трезво подходить к собственной жизни. Это — шаг к внутреннему освобождению.

Художественный анализ отношений мужчины и женщины, их разлада позволяет писательнице выйти к очень важной для современности проблеме. Речь идет о расхождении мечты человека с его практической жизнью, когда, в сущности, нет внешних, объективных причин для такого расхождения, и они коренятся лишь во внутреннем бессилии человека перед стихией складывающихся обстоятельств. В этом случае трудно стать кузнецом своего счастья. Мечты Анны были серьезны, не были пустой прихотью. Но она изменила им, и это стало изменой самой себе, что глубоко драматично и ощущается как утрата надежды на счастье. Тема счастья, неисчерпаемая и безграничная, как сама жизнь, звучит в повести как тоска по цельности и гармонии человеческого бытия. Каждый идет к ним своим путем, но должен лично испытать их высокую цену.

Повести свойственно свободное дыхание. Его не стесняют даже авторские мысли, высказываемые открытым текстом. Этот своего рода комментарий к событиям, происходящим в жизни Анны, ненавязчив, он естественно включается в интонацию повествования, максимально приближенную к самоощущению героини, соответствующую ее духовному облику. И все-таки в повести содержится важный нравственный урок. Он как раз возвращает реальное значение мысли о человеке — творце собственной судьбы, напоминает личности о ее ответственности за счастье, вызывает к душевным силам человека.

При изображении фигур и первого и второго плана автор добивается точности в передаче светотеней. А освещение сложной внутренней жизни Анны происходит в атмосфере неизменной нравственной требовательности по отношению к героине, хотя писательница не скрывает, что героя ей глубоко симпатична.

Такой нравственной требовательности не выдерживает Алла Драбкина, ленинградский

прозаик, частенько постигающий суть человека, испытывая его в любовных коллизиях. Герой рассказа, давшего название последнему сборнику Драбкиной «Там, за тремя соснами...», любвеобилен, живет стихийно, повинаясь своему увлечению. Громов — грешник, но грешник кающийся. Время от времени, как бы спохватываясь, он начинает испытывать чувство вины и тревоги, «как будто бы он помнил не только свои, но и все человеческие подлости с тех самых времен, когда человек впервые слез с дерева».

В атмосфере повышенного внимания литературы к вопросам морали вполне естественно растет интерес к героям, которые наделены чувством самоконтроля, способностью к самоосуждению. Громов из числа таких, во всяком случае — по замыслу автора. Его индивидуализм, непомерное себялюбие, эгоизм, якобы, не примитивны, не исчерпывают его характера, и в пору, когда его охватывает щемящее беспокойство, «сердце делалось открытым для любой боли».

В центре другой повести («Что скажешь о себе?») Драбкина ставила более простую фигуру. Наделенный потребительской психологией и подчинивший свою жизнь фальшивым ценностям, Степанов неумолимо приближался к краху. Нравственный недуг его настолько очевиден, что в этом крахе критика усмотрела назидательность. Теперь Драбкина хочет избежать назидательности. Она усложняет предмет художественного изображения. Способность Громова к беспокойству, по мысли писательницы, пробивает броню его эгоизма и выделяет его из среды большинства, вообще лишенных такой способности. К сожалению, авторские мысли находятся в явном противоречии с художественной логикой произведения. Задуманная сложность не реализовалась. На поверку самокритика и самоосуждение героя — не более как самоукрашение, способ тешишь самолюбие, чего ни герой, ни, главное, автор не замечает.

«Какой бы он ни был, Громов любил себя. Даже за то любил, что иногда мог ненавидеть». За это, последнее, герою и выдается индульгенция. Автор охотно подхватывает интонацию жалости героя к себе, любимому,

но объективно здесь гораздо уместнее была бы интонация иронии.

Драбкина не сумела убедить в искренности раскаяния своего героя. Чаще всего оно выглядит фальшивым. Громов, например, корит себя за то, что не может наградить своей любовью Катю. Катя — это его первая любовь, он оставил ее, когда уехал из деревни. Теперь, когда при очередном приступе беспокойства он снова едет в деревню, он встречается с Катей и убеждается, что она его помнит, да и ведет себя выше всяких похвал, чтобы он не чувствовал вины за прошлое. И вот сам он без конца мусолит мнимую вину (можно ли его упрекнуть, что к давней любви нет возврата!) и не задумывается над виной действительно, когда, не любя Катю, все же ради кратких мгновений близости вторгается в ее жизнь да еще перекладывает свою тоску на ее плечи.

Чувство вины героя за бегство от Наденьки кажется более искренним. Можно поверить и в страх героя перед брачными узами с девицей, которая после первых же поцелуев стала решать вопрос, как расставить мебель в квартире после свадьбы. Только естественно ли соизмерять спасение от торопливости наивной девицы со святым беспокойством и обостренным чувством чужой боли? Наконец, автор пытается уверить читателя, что после уроков очередного, на этот раз «трудного» романа с Наташей для Громова начнется другая жизнь, ибо он стал «весомее», хотя порыв любви снова поднимает его над землей. Финальная фраза как раз об этом: «За тремя соснами — другая жизнь. Нелегкая, но другая». Декларацию нужно принимать на веру, она ничем не подкреплена. А в итоге претензия на сложность характера обернулась расплывчатостью нравственной оценки.

Творчество Аллы Драбкиной не свободно от просчетов. Бросается в глаза, например, склонность к однотипным ситуациям. Писательница охотно варьирует мотив: за неказистой внешностью героини или героя скрывается способность вдохновляться, хорошеет и внушать к себе любовь (см. рассказы «Лицо», «Знакомый писатель», «Обложные дожди»). Умение находить неожиданные повороты в психологи-

ческих сюжетах отчасти смягчает эту навязчивость. А вот неточность авторских моральных оценок, недостаток моральной требовательности к герою — упущение серьезное и невосполнимое. Ведь речь идет не больше и не меньше как о выяснении нравственной ценности человека.

Гораздо убедительнее о потребности современного человека в самоконтроле удалось сказать Екатерине Дубро в повести «Последний довод короля».

У Е. Дубро, автора повестей и рассказов, публикуемых с 1973 года Кемеровским книжным издательством, критика справедливо находит «мужество доброты». Но в сборнике 1980 года «Второе начало» отчетливо воплощено и начало «женское». Оно, прежде всего, в лирическом освещении героинь Дубро, наделенных умным сердцем, душевной мудростью, совестью, потребностью периодического «обстоятельного осмотра» собственных чувств и мыслей.

Е. Дубро любит присматриваться к человеку, когда он готовится встречать Новый год. В этот момент обостряется ощущение бега времени, необходимости выяснить отношения с ним, устроить проверку своей жизни, произвести учет несбывшегося, невоплощенного. Новый год — праздник великодушный: можно загадывать на несбывшееся. Но он и коварен, обольщает мнимой возможностью повторения — возвращаются одни и те же времена года, месяцы, дни, недели, даже названия чувств, только пропущенное состояние души уже не возвращается. В этом и побуждение для самокритичного отношения к собственным прожитым страницам и мощный резерв жизнелюбия: приходит осознание каждого момента, каждого дня как неповторимого и бесценного.

В повести «Последний довод короля» главные раздумья писательницы связаны с образом Славы Еловской. Впервые этот образ возник еще в рассказе «Серебряные колокольчики». В повести Владислава Еловская — общественница по натуре, с чертами психологии президента (теперь уже бывшего) клуба «Республики беспокойных сердец», осваивает неженскую должность мастера цеха. И Е. Дубро увлекает нас в напряженные и нелегкие ее

деловые отношения с товарищами по работе. На Славу обрушивается гряда текущих вопросов. И решает она их, будучи всегда на виду, зная, что каждый ее поступок, каждое слово становятся предметом обсуждения.

Большое место в сюжете занимает ее трудный поединок с рабочим Валерием Ялышем, который, рассчитывая на свою «высококвалифицированную незаменимость» и безнаказанность, держится на заводе нагло, хамовато, позволяет себе прогуливать и многое такое, чего не может себе позволить никто другой. В этом поединке больше поражений, чем побед.

Товарищам, даже очень близким Славе по духу, только кажется, что они хорошо ее знают, считая открытой, душевно распахнутой. Но узнавать ее непросто. Ей свойственна сдержанность, уравновешенность в общении с людьми. Это не от отсутствия эмоций, а от нежелания быть в них навязчивой, от природного такта, что, впрочем, вполне согласуется со способностью быть определенной и твердой в своих решениях и оценках. Слава может производить впечатление ограниченной деловой девушки, у которой и нет «другой» стороны жизни. На самом деле ее внутренний мир глубок и богат, к тому же в нем не прекращается сложная работа. Героиня открывает для себя и усваивает своим сердцем элементарные моральные истины. По этому поводу автор замечает: «Ничто, даже самое азбучное, не становится своим, пока каждый сам не докопается, не откроет для себя лично, не примет в себя хотя бы уже открытое кем-то. Хотя бы уже всеми открытое». В этом коренится благородство ее поведения, особая ее надежность, которую хорошо чувствуют все, кто имеет с ней дело.

Менее всего героиня Дубро похожа на доброго ангела. Это живой человек, может и страдать, и мучаться, и испытывать злость, обиду, горечь. Может признать себя неправой, совершить поступки, которые оказываются ошибочными. Она непоколебима и бескомпромиссна в главных моральных принципах, им не изменит. В ней действительно сочетается благородство с идейностью, над чем пронизировать склонна только Нина Бодлева, потому что последней это недоступно.

По многим признакам повесть может быть названа «производственной», но между деловой и частной жизнью героини нет непроходимой грани, поэтому нравственный пафос повести рождается в итоге испытания характера героини и по «эту» и по «другую» сторону ее жизни.

Е. Дубро сделала новый шаг по пути усложнения своей художественной палитры. В предшествующих рассказах с философским оттенком большую роль приобретало движение человеческой мысли, поэтому часто звучал голос автора. Теперь встала задача более сложного сюжетостроения, обогащения психологического рисунка. Выросла роль диалогов, они стали выразительней, красноречивей, насыщенной, авторское повествование, энергично окрашиваясь характером того или иного персонажа, получило возможность воплощать тип его мысли, стиль его чувствований. Большой психологической тонкости, проницательности потребовал и рассказ «Пили чай, конфеты ели». «Пробеги мысли по коридорам памяти» возвращают молодого человека к случайной новогодней встрече, к пережитому тогда и снова переживаемому теперь. Писательнице не удается избежать длиннот, некоторой словесной вязкости и в авторской речи и в диалогах. Не всегда оправдана и неясность образа Тани, хотя понятна его некоторая загадочность, ответ чуда и сказки на нем. При всех частных просчетах рассказ хорошо вписывается в нравственные поиски Е. Дубро. В нем явственно звучит призыв, к каждому отдельному человеку обращенный, познавать тайны природы, мира, и, главное, себя и себе подобного, чтобы понимать друг друга. Взаимопонимание составляет одну из высших форм взаимной моральной ответственности людей друг перед другом. Героиня рассказа Дубро как раз и дает пример такого мудрого сердечного понимания.

Понимание — основа человечности, доброты. Помощь тому, кто в ней нуждается, только тогда будет действенной, когда будет подкреплена способностью человека, несущего добро, чувствовать себя на месте другого, *сочувствовать ему*. Литература не ошибается, видя начало постижения этой гуманистической

азбуки еще на первых ступеньках человеческого общения, в семье, где закладываются основы нравственной культуры. Об этом постоянно думают писатели-женщины.

✓ Нравственная глухота, неспособность постичь мир другого, даже близкого человека, стихийный эгоцентризм, поглощенность собственными мелкими заботами, да еще возведение их в ранг неотложных, исключительных, заводит в тупик, а порой грозит сделать жизнь безнравственной, хотя об этом до определенного часа не думаешь. Для героев рассказа Зинанды Чigareвой этот час наступает, когда мать уходит из жизни и ее стареющим детям приходится разбирать вещи в оставшейся без хозяйки комнатухе («Платок для матери»). И вот рядом с разнообразными следами неудовлетворенных привязанностей и желаний матери, целая гряда ненужных платков — «щедрые» и ненужные ей дары детей. Дочери теперь хочется оправдаться, усыпить совесть ссылками на сложность жизни, но сын не может сбросить груза вины, тем более тяжелый, что прозрение опоздало.

✓ З. Чigareва пришла в литературу из школы, из газеты, с телестудии. Писала пьесы, писала и для детей. Еще в 1970 году вышел первый сборник ее рассказов, в 1978 году Кемеровское издательство напечатало еще восемь рассказов и повесть. По ним можно судить о сложившихся чертах ее писательского облика. З. Чigareву влекут к себе в первую очередь люди открытой души, умного щедрого сердца, наделенного даром проникать в мир другого, проницательно угадывать его состояние. Этим даром могут владеть люди совсем простые, такие, как Маша Красильникова. Рассказ «Праздник Маши Красильниковой» задает тональность сборнику «Свет мой ясный» и покоряет образом прекрасной молодой женщины-малыра, у которой любовь к делу, ответственное отношение к нему сочетаются с живым интересом к людям, для кого ей приходится трудиться, с внутренней культурой, с особым тактом в поведении — как на работе, так и дома.

✓ З. Чigareва уверена: понимание, рожденное любовью, помогает решению сложных коллизий, выходу из тупиковых ситуаций. Об этом

повесть «Когда любишь...» У героев этой повести есть прошлое — и общее, и свое у каждого. Общее прошлое — это несколько часов в поезде, когда внезапно пришла нечаянная любовь с готовностью «все принять, все благословить». И отдельное прошлое каждого — когда безжалостный случай на годы развел влюбленных. Для Жени — это годы, заполненные тренировками, гимнастикой, учебой и розысками безымянного «принца». Для Андрея — институт, женитьба на Анюте, работа в Средней Азии. И вот, стоило Жене посетить семью Андрея, как тяжким узлом оказались завязаны все трое, а с появлением у Андрея сына — и четверо. Женья не вправе обидеть доверчивую привязанность простодушной Анюты, но не забывает, что Андрею нелегко вести добровольно взятое на себя бремя долга перед женщиной, слабой здоровьем, нуждавшейся в его любви, участии, покровительстве.

Взаимопонимание любви помогает сохранить чистоту отношений. Она сохраняется и тогда, когда после смерти Анюты у героев возникла возможность связать друг с другом свои жизни. Теперь появились свои проблемы. Женья сделала выбор в пользу семьи на вершине спортивных достижений. Она не раскаивается, испытывает полноту счастья с мужем и детьми. Но ее не оставляет и тоска об утраченном, ее тело не может забыть «радостную боль полета», чудо «безграничного, безоглядного самозабвения окрыленности». При поддержке мужа она решает учить других тому, что умела сама. Как известно, всякий спортсмен при переходе определенного возрастного рубежа сталкивается с трудными вопросами. Чigareву интересует не спортивная, а общечеловеческая сторона дела.

Писательница верит в цельность и гармонию отношений: Отсюда просветленный колорит ее произведений, отчетливое стремление найти поэтическое в обыденном. Большинство героев Чigareвой облучено откровенной авторской симпатией, находится в сфере ее сердечного расположения. А от умиления, от преувеличенной сентиментальности писательницу, как правило, удерживает хороший вкус, чувство такта и меры.

Если З. Чигарева дышит воздухом прекрасного и только это дыхание позволяет ей ненадолго заглядывать в тайники захлавленных душ, то у ее землячки, Любови Скорик, страсти к странному, удивительному. Сборник рассказов «Шли дожди» (Кемеровское кн. изд-во, 1980) — первая книга молодого прозаика, журналистки, принесший в литературу двадцатилетний опыт работы и серьезный запас впечатлений.

Публицистические рассуждения чужды писательнице. Ее стихи — резко очерченные, по своему неповторимые характеры, «достопримечательности» деревни Шалаевка — места действия большинства рассказов.

Таков дед Федот («На посту»), которому уже девяносто и который ежедневно несет свою добровольную, необычную «уличную» службу. До всего и до всех ему есть дело и для каждого он находит нужное слово. Из его памяти могут запросто выпасть десятилетия, он легко путает, когда, что было, но понятия, по которым судит жизнь вокруг себя, прочны и мудры. Его уважают, его слушают, дорожат его советами.

Федя, герой одноименного рассказа — другая достопримечательность Шалаевки. В народе таких называют блаженными. У него свои, необычные заслуги перед деревней. Существо «жалкое и несуразное», он взял на себя обязанности, о которых там забыли, но по простым человеческим законам забывать нельзя, — навел порядок на заросшем и одичалом шалаевском кладбище и помог утвердиться обычаю всей деревней провожать умерших, прощаться с ними трогательно и красиво.

У Скорик в запасе немало странных, даже загадочных историй, каждая из которых разгадывается, в сущности, просто, так как утверждает правоту элементарных нравственных законов. Тогда не покажется странным, что Федор Игнатьевич Пряхин всю жизнь мечтавший о моторной лодке, вынужденный отодвигать осуществление своей мечты, наконец, купивший ее, тут же решил ее продать, чтобы отдать деньги своим сыновьям («Ко Христову дню»), ибо только тогда собственная радость, сбереженная с детства в потайном уголке души, пробудилась, расправив «смятые от дол-

гого хранения крылья». Дарить радость близким — высочайшее счастье.

Получает свое объяснение и странное поведение Нюрки, которая упорно хранит тайну «городского подарочка» семи месяцев от роду, вернувшись в деревню, а это для «прочного шалаевского покоя» равносильно бомбе. Односельчане не подозревают, сколько доброты и душевной щедрости в этой Нюрке. Зато, когда в Шалаевке появилась женщина, которая в свое время отказалась от сына, а теперь пожелала отобрать его у Нюрки, его усыновившей, на защиту человеческих прав последней встали все бабы деревни («Парнишонка»).

Шалаевка утверждает в качестве истинных ценностей человечность, доброту, коллективизм. Из понятия географического название деревни становится понятием моральным, нравственным, обозначает народную точку зрения.

В своем обращении к частной жизни человека наша проза сегодня пользуется ситуациями, достаточно разнообразными, взятыми из бытовой повседневности. Разделенная или неразделенная любовь, счастье или несчастье в любви могут проявиться в них в непредсказуемых вариантах. Так же неповторимо можно рассказывать об одиночестве непреодоленном или об одиночестве, из которого совершается прорыв, о семьях счастливых или несчастных, о понимании или непонимании между родителями и детьми, о горе безотцовщины или безграничной материнской любви. Бесконечно варьируются обстоятельства жизни, перед лицом которых проходят свою нравственную проверку герои. А мысли писательниц неизменно возвращаются к подтверждению глубокой истинности тех немногих и простых нравственных законов, которые потому и сохраняют силу законов, что не зависят от напора стихии конкретных обстоятельств.

Еще совсем недавно критики фиксировали интерес нашей литературы к процессу становления нравственных представлений, к их обновлению. Удивившись, литература должна была задуматься над тем, что в них что-то отмирает, а что-то заново утверждается*.

* Панков А. Современник на randevу. — «Новый мир», 1978, № 6; Пурикова Г. Взаимосвязи нравственных понятий. — Сб. «В конце семидесятых». Ленинград, 1980.

Теперь явно наступила пора внимания к тому, что в нравственных представлениях остается неизблемым, устойчивым. Речь идет вовсе не о конкретных моральных рецептах, годных на все случаи жизни, не о сумме жестких правил, которые следует рассматривать как руководство к действию. Речь идет о тех основных законах, которые уходят своими корнями в тысячелетний нравственный опыт народа, хранителя моральных общечеловеческих ценностей.

На эти размышления наводит и новая повесть И. Грековой «Вдовый пароход».

Самое главное в повести — это всепоглощающая материнская любовь Анфисы, самоотверженная, безграничная и бескорыстная, не требующая ответной благодарности. Порой кажется, что она бесплодна, обречена исчезать бесследно словно в бездонной яме. Писательница не торопится с итогами. Она не скрывает, что атмосфера такой слепой, почти рабской, нерассуждающей любви чревата серьезной опасностью, может способствовать формированию избалованных эгоистов. В сыне Анфисы, Вадиме, опасность реализовалась. С детства он привык к материнским заботам о себе как к чему-то должному, о их подлинной цене никогда не задумывался, чаще начинал ими тяготиться, научился ими пренебрегать, создавая впечатление, что лишь уступает назойливой материнской любви. Постепенно привык считать, будто все в жизни — для него, что по сравнению с другими у него есть какие-то особые права. Возникло даже с годами своего рода идейное обоснование таких прав, возвышающих его над другими, когда любимой стала мысль: «все врут». В ней — и юношеский максимализм, неприятие всякой лжи, но и самовозвышение, самоутверждение. Высокомерный, себялюбивый, он чувствует себя почти несчастным там, где не замечают его исключительности. В сущности, душа его еще не разбужена. Он сам не знает, чего хочет, словно только готовится к какой-то необыкновенной жизни, а к какой — выяснить не спешит. Во всяком случае той дорогой, о которой для него мечтает мать, не дорожит.

Перемена наступает как реакция на первые

серьезные удары жизни. Один удар он испытал на целине, когда обмороженный попал в больницу. Другой, еще более сильный, связан с долгой смертельной болезнью матери. «В уход за матерью он ринулся очертя голову — ожесточенно и самозабвенно».

Грекову можно упрекнуть в том, что психологически она не очень внятно объяснила превращение Вадима из эгоиста в сверхзаботливого сына (правдиво лишь то, что в нем все еще угадывается самолюбивость), но в нравственной логике писательнице не откажешь. Пафос повести в утверждении материнской любви как огромной моральной ценности. Когда она искренна и честна, естественна, активна и действенна, она, как всякая другая подобная любовь к человеку, не проходит бесследно, сила ее воздействия на человеческую душу велика и способна творить с ней чудеса. Анфиса не умеет рассуждать о любви, о доброте, она просто живет, но в каждом ее поступке светится талант человечности.

Избранный для анализа круг произведений, созданных в самые последние годы пишущими женщинами, — лишь небольшой участок современной литературы. И, кажется, трудно ждать каких-либо новых открытий там, где нет явного прорыва к новым тематическим горизонтам, где отсутствуют «формальные» новации и традиционны чаще всего используемые жанры рассказа и повести. Однако в литературе нередко возникают ситуации, к которым можно применить известное положение, несколько его перефразировав: новое — это неоправданно забываемое старое. Такая ситуация складывается и теперь, ибо литература становится интересной тем, как напоминает о существовании нравственной азбуки, о тех немногих, главных нравственных законах, которые хотя и действуют в сложном мире, сами просты и однозначны подобно хлебу на каждый день или воздуху, каким дышим постоянно. Так что нет причин сетовать на наших писательниц, которые в своих нравственных исканиях пришли к открытию старых истин. Выверив их сегодняшним бытом, сегодняшними отношениями, они включились в общую эстафету борьбы за нового человека.

Павел Майский

ДАЧНЫЙ ДЕСАНТ

— Граждане пассажиры, наш электропоезд прибывает на конечную станцию «Сарбала»!..

Дачный десант суетливо перестраивается на узкой станционной платформе, тремя колоннами направляется на исходные позиции.

Первая колонна, предельно нагруженная саперной амуницией, — к низине, где уже второй год идет строительство дачного городка в створе Малиновских озер; мечутся над озерами утки, десятки лет мирно выводившие свое потомство на хитро запрятанных озерах, и не поймут: неужто сухого места не нашли себе эти люди, деловито вырубаящие кусты дикой смородины и елочки, освобождающие место под грядки и двухэтажные, с мезонинами, особнячки. А к стройке мощная техника бревна подвозит, гравием полотно дороги отсыпает.

Вторая колонна, более легкомысленная, с ракетками, удочками, надувными матрасами, направилась к реке Кондоме, где вытянулась по берегу сотня нарядных дачных построек... Некогда Кондома полноводной была и рыбной, а сейчас, после вырубки прибрежных лесов, обмелела, зачахла... Пескарь один в ней остался, да по весне, в талую воду, заходят на нерест окунь и сорожка.

Третья же колонна, самая малочисленная, рассыпалась на группки и растворилась в самом поселке. Это, в основном, новые владельцы деревенских изб, хозяева которых уехали из этих мест навсегда. В избах живут теперь престарелые родственники горожан, приезжающих в свои владения на воскресные дни, да отпускники...

Перрончик опустел. Исчез за поворотом последний дачник с пилкой за плечами, завернутой в мешковину. На платформу взобралась деревенская дворняга и стала сначала обноживать апельсинные корочки, потом занялась оберткой из-под эскимо.

Я сбежал по щебеночному откосу на дорожку и зашагал в село, где когда-то прошли три счастливых года моего детства.

Всего десяток лет назад вот эта увядшая

река Кондома радовала своими глубокими плесами и говорливыми перекатами рыбака, а на Малиновских озерах по осени удачно проводили зорьку охотники. А на месте вот этой дороги сарбалинцы собирали смородину солнечными августовскими вечерами.

Я слишком хорошо все это помню и оттого никак не могу понять: что заставляет строить дачные городки в окрестных лесах и приречных подлесках, а не в самой деревне? Ведь наверняка (я даже прикидывал по площади) можно разместить всех без исключения любителей природы на обжитых уже поселковых угодьях, отчего и польза запустевшим участкам будет немалая и окрестная природа останется нетронутой. Так почему же в одной только Сарбале, почитай, добрая тысяча дачников на многие десятки гектаров вырубает под корень всю зелень? А на очереди еще десяток заявок на дачные городки в Сарбале.

Совсем недавно, в мае прошлого года, глядел я на сотни беспорядочно поваленных в окрестностях Сарбалы осин и елей и не верил своим глазам. А вокруг брошенных стволов — десятки холмов необранного валежника, еще недавно именовавшегося ветвями, поэтично шумевшими на ветерке.

Одного из «лесорубов» застал я за работой с мотопилой «Дружба».

— Что же вы делаете, гражданин?

— А лес беру себе на новый дом. По решению лесхоза... А что?

— Так ведь его купить на лесобазе можно, как все делают.

— Но... на лесобазе хлопотно очень. И дорого. Лучше самому.

— Да ведь вы же в Сарбале живете и знаете, что лесов-то мало осталось. Считаю, до самого Теша все поредело.

— Это точно. Мало леса. Только не я его, так другой...

Вот и поговорили! «Не я, так другой».

Почему же разрешается рубка леса в Сарбале, в приписном охотничьем хозяйстве? Да-да,

перед входом в лес стоит щит: «Сарбалинское приписное охотничье хозяйство». И здесь же, в полукилометре от щита, не только рубится лес, но и строится профилакторий Новокузнецкого химфармзавода, под строительство отведено 19 гектаров.

Кто же столь безжалостно распорядился судьбой этих уголков природы? Припомнился мне разговор на эту тему с руководителями Новокузнецкого химфармзавода и Кузедеевского лесхоза. Очень уж досадно от недоумения упомянутых руководителей: «Да разве ж это ценные леса? Так себе — опушки, осинки, елки. Здесь же лес третьей группы. Не заповедник же. Вся документация у нас в порядке, оформлена и согласована с вышестоящими инстанциями».

Согласована! Но не секрет, что утверждающие инстанции Кемерово и Москвы, как правило, целиком доверяют тем организациям на местах, которые отводят участки под застройку. А ведь если внимательно ознакомиться хотя бы с популярной экологической литературой, то станет ясно, что именно опушки лесов населены наиболее полезными человеку животными и именно на границе «поселок — лес» растут ценные для человека виды растений. Да и по красоте вряд ли перелески; озера и опушки леса уступают в чем-то заповедной чаще...

В постановлении Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 года «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» записано: «Считать одной из важнейших государственных задач неустанную заботу об охране природы... строгое соблюдение законодательства об охране земли, ее недр, лесов и вод, животного и растительного мира... имея в виду, что научно-технический прогресс должен сочетаться с бережным отношением к природе...»

И нам, жителям крупнейшего в стране индустриального района, сейчас, как никогда, нужна санитарно-защитная зона тайги!

Методы же нашего обращения с тайгой не выдерживают зачастую никакой критики. Например, в одной только Сарбале весной этого года я насчитал до десятка новых дорог по окрестным перелескам. Их проложили безо всякого разрешения строители дач, те, кто вывозил из тайги спиленный лес, и прочие «первопроходцы».

А владельцы личного транспорта? Они же вообще взяли в привычку ездить по любым лесным дорожкам и прямо по лугам, а также мыть свой транспорт в ручьях, реках и водоемах... Очевидно, давно уже пора поставить знаки, запрещающие въезд на автотранспорте

в лес по дорогам, не предназначенным для этих целей.

Я видел, как на вездеходе и двенадцатитонном КраЗе из поселка Малиновка приехало шесть молодых людей в тайгу — за колбой! Мало того, что было израсходовано государственное топливо — обезображены десятки километров чудесной лесной дороги! И все же осталось безнаказанным... Почему!

Почему мы, например, не курум в метро, хотя там и отличная вентиляция, а вот в тайге мы жжем костры, рвем черемуху, вербу, ломаем деревца? Почему в одном случае эстетические законы действуют, а в другом нет? Вероятно, потому, что хулиганство в населенном пункте пресекается, а в лесу безнаказанно. Вполне понятно, что сегодня один егерь да участковый милиционер не в состоянии контролировать тысячи гектаров леса. Но почему бы не привлечь к этому важному делу общественность? Общественные егеря должны встать на защиту зеленого друга! И в первую очередь общественными егерями должны быть члены общества охотников и рыболовов. А право на получение путевки охотнику и рыболову должно выдаваться лишь после того, как он отдежурит положенное количество дней на охране общественного порядка в лесу. А уж от опытного глаза охотника и рыболова не укроется ни браконьер, ни домостроитель, ловко обошедший букву закона!

Вот такие мысли переполняли меня в ту минуту, когда на мое плечо легла рука старого сарбалинского приятеля-охотника. Был он свежий, загорелый, в модной полосатой «махровке» и джинсах...

— Откуда ты, Юрка? — спрашиваю.

— А от тетки... Из-под Новгорода. Вот места-то! Отпуск там провел... А теперь, Паша, запала мыслишка вообще туда перебраться. По лесу давно так соскучился!

— Граждане пассажиры, электропоезд до станции Новокузнецк отравляется. Будьте осторожны!

Напротив меня сидит отдохнувшая, разомлевшая чета с охотничьими черемухи и нераспустившихся огоньков на коленях. Электричку качает...

Мальчик у открытого окна кричит: — Папка, папка! Погляди, сколько уток! Где твоё ружьё, папка?!

А голубоглазая девушка в слинялом ситцевом платье жмётся к бабушке:

— Бабуля, милая, зачем они цветочки срезают? Ведь цветочкам больно!

Человек побывал в лесу... Каким он возвращается?

Каким он вновь придет на залитую солнцем таежную поляну, щедро дарующую человеку здоровье, силу и радость жизни?

В. Откидач

ПРАВО НА ЧУДО

(О книге З. Естамоновой «Сотворение рябины»)

Более года прошло с тех пор, как в Кемеровском книжном издательстве вышла книга З. Естамоновой «Сотворение рябины» — о художниках Кузбасса.

Зоя Николаевна Естамонова — хорошо знакома читателям альманаха, на страницах которого и начиналась ее книга.

«Сотворение рябины» — одна из первых книг о местном изобразительном искусстве и первая в своем жанре. Автор образно, эмоционально размышляет не столько о творческом пути того или иного художника, сколько в целом о психологии художнического мировосприятия. Книга была принята неравнодушно. Не все и не сразу восприняли специфику задачи автора, иным книга показалась слишком открытой по чувству, слишком эмоциональной по интонациям.

Автор начинает свои размышления неожиданно и откровенно: «Очень люблю художников. И немного побаиваюсь их...» Этот зачин, разумеется, не случаен, он продуман, программный. Он пронизывает все повествование как задача, как цель. З. Естамонова словно бы заявляет читателю: буду до конца откровенна, как бы это ни выглядело, как бы это ни истолковывалось. И в этом нет ни позы, ни вызова. У автора книги есть идеальный образ настоящего художника, который предельно открыт в своем творчестве, который обнажает перед зрителями мир своих чувств, свою душу. С этим представлением о настоящем художнике она подходит к каждому из героев своих раздумий. Откровенность и искренность художника вызывает у З. Естамоновой не просто уважение, но и взывает к ее долгу быть столь же честной в своем деле.

г. Новокузнецк

Автор обращается к художникам разным по возрасту, по опыту, по уровню дарования, но она не выстраивает их по рангу, не сравнивает — она всегда утверждает лишь право каждого из них на неповторимость, на чудачества и, в конечном счете, на чудо.

Вслед за автором мы выносим мысль о том, что творческая работа — не совсем обычная работа, хотя бы она и выглядела обыденнее обычной, а то и вовсе не трудной, а забавной. У автора есть строгое и серьезное убеждение, что художник — это прообраз человека будущего, лучшего человека, поэтому художнику бывает не всегда легко среди современников. Он чуть впереди своего времени, поэтому так по-особому уязвим и так по-особому стоек.

Наиболее удачными в книге, на наш взгляд, являются главы: «Наш Бачинин», «Мастер Бармалейчик», «Сын Бармалея», «Сто десять молодых».

В главе, посвященной Н. Бачинину, есть несколько фраз, которые стоит просто запомнить, так они точны и удачны. Это, например, замечание о художнике, о его «серьезной убежденности в том, что он рядовой армии искусства». Особенно полно оно открывается в контексте. Все, кто знает Бачинина, могут оценить, как справедливо и верно здесь обрисована благородная человеческая сущность художника. А тот, кто Бачинина не знал, знакомится с ним глубоко и интересно на страницах книги.

В книге есть много тонких эстетических наблюдений, относящихся к проблеме взаимоотношения художника и стилистических особенностей его творчества.

Юрий Моренис

ВОКРУГ КЛЕОПАТРЫ

(Опыт исторического рассказа)

...Она была божественна. Легкие одежды облачали и обольщали, прическа удлиняла ее лицо, а багровый цвет вечернего солнца придавал ей религиозную возвышенность, свойственную только царицам.

Клеопатра... Она прошла вдоль строя, стала между пирамид и взглянула на воинов. «Какая женщина!» — подумал Иван Харитонович и почувствовал, как рукоятка меча поневоле впиивается в его ладонь.

— Мои храбрые воины, — сказала Клеопатра, и стало сладко от ее голоса. — Кто готов пожертвовать собой во имя любви? Кто готов после ночи со мной сложить голову на плахе, пусть делает шаг вперед. Тот настоящий воин и мужчина!

Зазвенели щиты. Рубиновая волна прокатилась по легиону. Иван Харитонович чуть не выронил меч.

Никто не сделал рокового шага.

Царица усмехнулась, промолчала — она ждала.

— Вот они, бабы... — пробормотал сосед Ивана Харитоновича и незаметно сплюнул, чуть не попав Ивану Харитоновичу на сандаля. Пришлось только вздохнуть и посмотреть на часы: и из-за этого строиться? Вот у него самого, например: дом, жена, детишки. И уж лучше этот вечер провести в кругу семьи, чем стоять здесь, потеть по команде «смирно» и ждать, когда какой-то болван выйдет убажывать страсть царицы.

А, кстати, почему никто не выходит?

Тоже мне, «мужчины»!

Здесь вариант понятный — семья. А другие? Время идет, уже темнеет, дома нервничают.

Нервничают?!

А что он сам, Иван Харитонович, видел в жизни, кроме того, что утром до блеска — щит, меч, шлем; вечером — кастрюли, ложки, поварешки?

Да и супруга его далеко не Клеопатра. Не делай то, не делай се. У других мужья, как мужья! Сцены...

Вот и сейчас дома будет. А разве он виноват, раз никто не хочет выходить? Ну и воины. Стыд какой!

А Клеопатра-то! Боже! Как потемнело ее лицо! Да! Она действительно прекрасна! Таких женщин в жены не берут, за таких погибают!

Иван Харитонович улыбнулся и скосился на щит соседа, откуда выглянуло мужественное волевое лицо. Его лицо. Прибавилась страстная порывистость. Да видела ли его когда-нибудь таким супруга? А он тут стоит и рвется к ней.

— А какая будет смертная казнь? — спросил кто-то слева. Иван Харитонович поморщился: разве это важно? Вопрос труса.

Он вложил меч в ножны, оттолкнул соседа и сделал шаг.

...Иван Харитонович галантно шелкнул зажигалкой и поднес огонек к сигарете, Клеопатра затянулась.

— А жаль, что наступает утро, — сказала она, — и я вынуждена выполнить свое слово. Жаль.

Иван Харитонович пожал плечами. Он знал, на что шел. Жизнь прожита не зря. Спокойно встал, надел рубашку, поправил галстук.

— Стража! — позвала Клеопатра, и на ее глазах появились слезы.

— Не надо плакать! — тихо попросил он.

— Но ведь ты сейчас умрешь...

Он улыбнулся, взял ее царскую руку и легко прикоснулся губами.

— Сдайте оружие! — приказал начальник стражи.

Иван Харитонович повернулся, отстегнул ножны и протянул их. Конечно, он мог бы сейчас дать бой целому легиону, но не в ее покоях.

— Прощай! — сказал он ей.

— Поцелуй меня, — прошептала царица.

Иван Харитонович снова улыбнулся, но все же подошел.

— А теперь прощай, — сказала Клеопатра, когда стражники плотно сомкнулись вокруг него.

— Прощай.

— Стража! — тихо-тихо приказала царица, — отведите его к супруге.

НАШИ АВТОРЫ

Емельянов Геннадий Арсентьевич. Родился в 1931 г. в с. Курагино Красноярского края. Окончил МГУ. Автор многих книг прозы, изданных в Кемерове и Новосибирске. Член Союза писателей. Живет в Новокузнецке.

Ябров Анатолий Степанович. Родился в 1934 г. в деревне Окулевка Тюменской области. Автор книг прозы: «Стриженные», «Накладки», «Жди нас, океан». Член Союза журналистов. Живет в Новокузнецке.

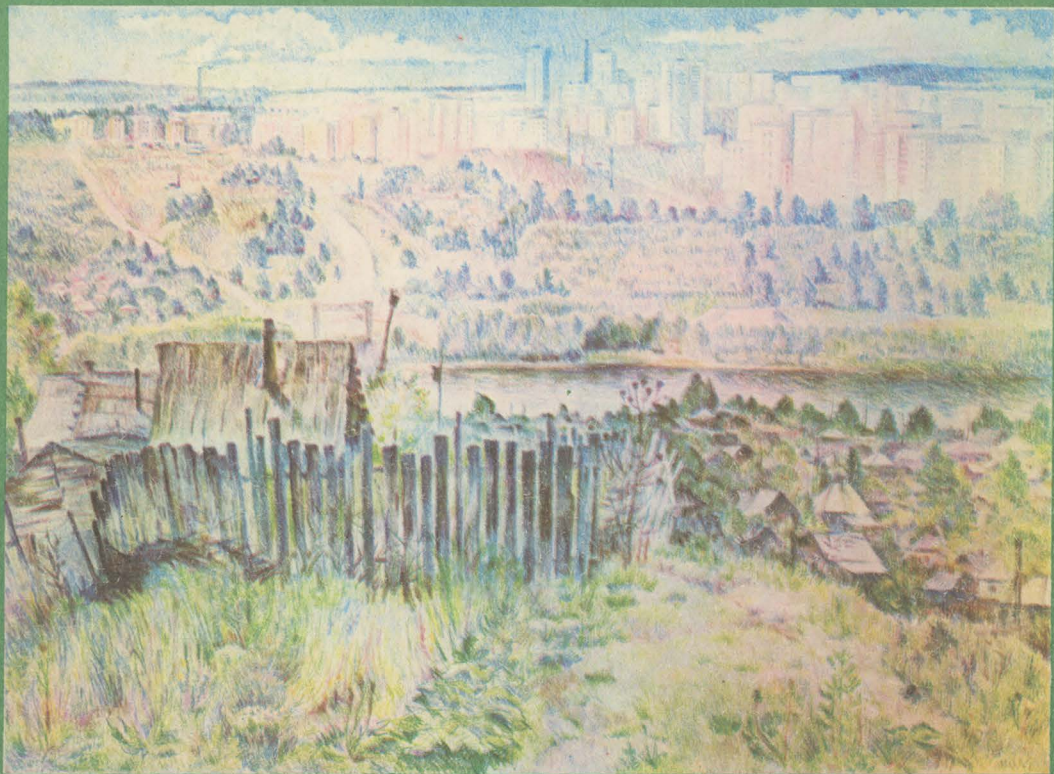
Матвеев Владимир Федорович. Родился в 1932 г. в Калининской области. Окончил Новокузнецкий пединститут. Работал в газетах «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса». Автор книг: «Иронические строки», «Букет шипов», «Житье-бытье», «Копыто Пегаса», «Улыбка с нагрузкой» и др. Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Катков Александр Иванович. Родился в 1950 г. в д. Зайцево Ставропольского края. Окончил университет имени К. Маркса в Лейпциге. Преподает в Кемеровском технологическом институте. Публиковался в газетах и в альманахе «Огни Кузбасса».

Соколов Владимир Баевич. Родился в Томске. Окончил Кемеровский пединститут. Работал в газете «За коммунизм» (г. Березовский). Член Союза журналистов. Живет в Кемерове.

Дубро Екатерина Владимировна. Родилась в п. Тяжин Кемеровской области. Лауреат премии «Молодость Кузбасса». Автор книг прозы: «Вернусь звездопадом», «Медленные часы», «Второе начало», «Оглянись, расставаясь». Живет в Юрге.

Немченко Галий Леонтьевич. Родился в 1936 г. в станице Отрадной Краснодарского края. Окончил МГУ. Много лет жил и работал в Новокузнецке. Автор романов: «Здравствуй, Галочкин!», «Пашка — моя милиция», «Считанные дни» и других книг. Член Союза писателей. Живет в Москве.



При то мье. Рисунок В. П. Кравчука из серии «Кузбасс — край сибирский».
(Цветной карандаш).